

В городе считали, что он похож на Твардовского, так как тоже носил прочные костюмы и зачесывал волосы назад. Но тот, кто в толпе попытался бы найти его по этому описанию, нашего героя упустил бы. Недруги не сообщали, что ростом он был невелик, костюмы предпочитал светлых весенних тонов, а волосы, зачесанные и в самом деле назад, лежать там не хотели и выдвигали чубчик. Нет, он стремился походить совсем на другого поэта. Тоже крестьянина по роду и москвича по загулам.

Сам он загулов избегал, хотя что было проще? Его профессия не располагала к трезвости, а хобби прямо предписывали завить горе веревочкой. Но горя у него не было. На глазах развалилась страна и армия, но это случилось на глазах у всех и, таким образом, не имело цели опечалить его лично.

Он и не печалился, и не усердствовал в напускании на себя приличной грусти, когда речь заходила — иногда с его же подачи — об «отмене страны».

Это была фигура речи, обязательная для оправдания жестов, выдающих корыстолюбие: больше нет ничего, ради чего стоило бы рвать жилы. Но жилы он и раньше не рвал, предпочитая службу от рассвета и до обеда, а от обеда уже следовали в его распорядке «личные дела». Оправдывать корыстолюбие все-таки было нужно: военная служба — дело кастовое, а касты косо смотрят на всех и всяческих стяжателей.

Его отец был администратором в театре, и он вырос, бегая по черному сукну сцены между кулисами и вдоль рампы. Вращающийся круг, главный рычаг смены декораций, интриговал его лет с двенадцати: сегодня — березки, завтра — будуар «Королевы чардаша», послезавтра — какие-то сполохи для симоновского «Русского вопроса». Он смотрел на главного художника театра, «набрасывавшего» березы на задник и бросавшего свои березовые шутки сквозь дежурную художественную бороду, с целеустремленной, упорной завистью.

В подражание тому Сергею Ивановичу, цинику, жуиру и поэту в своем роде, он и начал писать. Но настоящей силы не чувствовал ни в своих глазах, светлых и, как он сам оценил, неглубоких на цвет, ни в руках, которые без глаз уже большого смысла не имели. Он видел зрячие, некрасивые, но врастающие в предмет и в материал руки художников и сравнивал их со своими, кончающимися ровно там, где кончалась кожа. Ни в какой предмет им вращать было не указано. Разве что в деньги. Он ходил в художественный кружок Дома пионеров, зная, что поедет не в художественное училище, а в высшее командное.

И все-таки он писал. Служа в Группе советских войск в Германии, доехал до Веймара и запечатлел домик Гете и тропу, по которой великий поэт гулял с Эккерманом.

Но в основном рисовал «свой» Потсдам: дворец Сан-Суси, Бранденбургские ворота, русскую церковь, римские бани, тропический сад «Биосфера».

Он считал ниже своего достоинства таскаться с мольбертом и не ходил на пленэр, но быстро, не роняя достоинства, набрасывал карандашом в аккуратный блокнот главные формы, а уже дома укрывался на хорошо освещенной лоджии и писал мясистую субтропическую плоть, одинаковую в растениях и животных.

Игуаны стояли у него на картинах, настороженно глядя вдаль, похожие на чутких тигров; пальмы простирали неоднородные лопасти к закату, стараясь как можно меньше походить на хохолки ананасов. Он рисовал и киностудию «Бабельсберг»: ходил в павильоны, где снимался «Голубой ангел» с его любимой Марлен Дитрих; но ее он даже и не пытался изобразить, понимая пределы возможного.

Свои границы он постарался чуть двинуть вперед: в одном из немецких народных домов творчества посетил несколько раз очередную художественную студию. Ему преподавали не азбуку рисования по Павлу Чистякову, которую он постигал все отрочество («Материалистическая трактовка искусства, понимание его общественной роли, целей и задач явились результатом развития русской национальной эстетической мысли»), а новый алфавит Баухауса («Мой принцип обучения базируется на интуитивном движении к цели», Йоханнес Иттен). Он взял, по верхам, «форкурс», подготовительный курс, смоделированный по старым лекалам 1920-х.

Формы: точка, линия, плоскость, объем. Контрасты: большое и малое, высокое и низкое, толстое и тонкое, широкое и узкое. Много-мало. Легкое-тяжелое. Утомительный примитивизм вещей давил на голову вместе с чужим языком, таким же угловатым, но он строил свои объемно-пространственные композиции, изображения различных текстур и контрастных пропорций и форм. Было хуже, чем в училище, когда шла высшая математика и баллистика. Он пропускал занятия и внутренне плевался.

Перед глазами всплывали саврасовские грачи и хотелось запить, как Саврасову, но раз — в жизни раз! — приблизиться к его забвенной, глухой и раздольной свежести, к алкогольному ненастью цвета.

Это был опасный момент. Но он его выдержал, как экзамен в училище. Как очередное производство по службе.

Невмещаемую жизнь он оставил от себя, буквально ответил в дочь. Она родилась как раз за два года до начала вывода войск, до почти всеобщего жадного «дербана». Такого, что пришлось на время забыть, всей поверхностью мозга забыть об искусстве и только под кожей теплить надменное отрицание собственных дневных занятий.

Женат он был давно и жене отвел порядочные по ширине рамки неуловимого внутреннего устава. Она собирала саксонский фарфор и работала в той же части на бухгалтерской должности, не претендуя на профессиональный рост. Росла ее коллекция розовых изящных кукол, и росла дочь, уже переросшая самую крупную из них.

Дома он держал только одну картину — репродукцию саврасовской «Волги». Свои — раздавал друзьям и ставил в кладовку, предварительно покрыв лаком и высушив. Он умудрялся продавать родные виды в красные уголки других частей: это было дешевле, чем покупать «более-менее такие же», как он выражался, картины кисти народных художников из Союза. Здесь, в окружении часто протираемых багетов, цвели его черемухи, яблони, сиреневые кусты, в изображении которых бедный реализм линий сливался с экспрессионистским новонемецким напором цвета. Русская природа, мало знаемая им, выросшим на китайской границе, трепетала на холстах брутально-гротескно. Алые снега, фиолетовые весенние потеки березового сока, рыхлые (контраст «рыхлое — гладкое», не забыть, ни х

фергессен) малиновые груды рододендронов, родимая китайская фанза с открытой дверью, — он долго решал, сделать этот рот улыбающимся или трагическим, вспоминая своего театрального отца.

— Иди, Ванюха, в офицеры. Там тебе будет удача. А художниками можно будет поруководить в порядке общественной нагрузки.

Когда переезд в Союз придвинулся до стадии планирования — куда? — он вспомнил отца и его «базу». Отец закончил жизнь директором театра, после тридцати лет руководства актерами по восходящей: от посылки их на выгодные и невыгодные наряды (эвакогоспитали, детсады, детдома) до принятия кадровых и репертуарных решений. То был детский театр: кукольный театр вряд ли может быть до конца взрослым, хотя в последней стадии отцовского руководства актеры стали смотреть на него, как на стекло, и видели вдали некие новые, непредуказанные им горизонты. Но это был храм искусства, как бы то ни было: чертог Мельпомены, в котором он был по горло в заботе то о карьере «примы», то о работающей канализации. Он был неотменимая величина, неогнбаемая фигура — в известных пределах.

К этому можно было стремиться. К такой базе и такой нужности. Принципиальное детство артистов требовало соседства взрослости, и он был готов такую взрослость обеспечить за разумное вознаграждение. Страну потеряли, вместе со всем блоком социализма, а искусство никуда не денется. Это стул, который не проваливается.

Он решил перевестись в город, где жил и умер его отец и где стояла — но не простаивала — доставшаяся ему по наследству трехкомнатная квартира. Он давно сдавал ее, регулярно повышая арендную плату, следя за нравственностью жильцов, — насколько за нею можно было уследить с его европейского обозревательного пункта на тринадцатом градусе восточной долготы. Но он справлялся, благодаря соседям и друзьям. Был в курсе политических склок Союза, инфляции и покупательной способности рубля; даже в курсе гонорей, поражавшей его жильцов, несмотря на то что они были все семейные пары. Но и солидных, почти эпокоившихся людей начало сотрясать нечто.

Он решил не брать с собой в Союз жену: предоставить ей вольную. Но решения не оглашал, дожидаясь полной внутренней убежденности. Последней честной капли.

Оставалось два месяца до отъезда, когда в их часть приехал — вывозить имущество и личный состав и еще что-то делать — полковник Мокрецов из штаба Главного командования войск Западного направления, из польского Легнице. Несмотря на гадкую фамилию, это был гладкий и вальяжный бурбон с приятно бешеными рыжими кудрями. Щедрый, наглый и заносчивый. Ростом выше всех солдат и офицеров их части.

Он и решил спонтанно сделать отвальную в Берлине. Горько, так уж пусть будет им уходить совсем горько.

— Не будем прятать боль, — так выразился этот сын Мельпомены, лежа на плохо заправленной, а точнее хорошо взбитой загадочной активностью, лежанке, когда вечером к нему зашли офицеры. Они сразу потянулись к нему от своих уже распадающихся на новые и разные будущности дел, как к человеку, способному поставить точку в их малопонятной общей истории.

Полковник Мокрецов лежал поперек лежанки и, прикрыв гитарой штаны (один из гостей сразу увидел художественным взглядом незапертый, но притворенный «зиппер»), наигрывал на одной струне мелодию вальса Иванова-Крамского.

— А вы, капитан Кондратьев, уже все свои картины распределили?

— Так точно, — он ответил с иронией, едва ощутившей.

Он не хотел дать понять, что с момента осознания близости отъезда, перестал загружать себя образами. Картины и так было некуда девать, но, к счастью, те, что остались, были памятками о Германии (домик Гете, морской вид под Иккер-мюнде, резиденция прусских князей), потому были охотно куплены офицерскими женами. Формат помог: он всегда инстинктивно сторонился огромных полотен, не видя в них пользы для интерьера (кто из офицеров живет во дворцах?) и видя лишь угрозу обнаружения его несовершенств. Следовало держаться середины. Его единственная крупная картина, впрочем, нашла если не покупателя, то дом: за ряд услуг он подарил вид дворца, где состоялась Потсдамская мирная конференция 1945 года, генералу Шишкову.

— Прое...ли все, — сказал генерал, принимая полотно.

Сам автор промолчал. Смотрел на то, как холст исчезал в упаковке, — возможно, его лучший, целомудреннейший холст — не меняя выражения светлых, неглубоких по цвету глаз.

Полвека назад здесь был решен жребий мира, и здесь кончался рубеж его собственной страны, а теперь генералы, сопливые дети той войны, смотревшие постановки кукольного театра в летних лагерях на природе, уезжали, подхватившись и грубо матерясь.

Сам он не ругался. Он молчал. Закрытый рот помогает лучше видеть.

Глядя под лежанку полковника, капитан увидел интересную абстрактную форму в квадрате поздних лучей.

Без своих обладательниц чулки никогда не выглядят хорошо, такова уж их природа, но это мало походило на снятую капроновую кожу: влажно блестящая ажурная полоса собрала весь длинный змеиный натяг в себя и лишь едва отчитывалась о том, что все-таки это не манжета со школьного платья.

Кондратьев посмотрел полковнику в глаза, и тот понял, судя по этим невозмутимым округлостям, что были сделаны богатые выводы.

Полковник отложил гитару.

— Давайте. Выдвигаемся. Официоз потом. Сегодня — прощание с Берлином.

Он попросил подать машины для всех офицеров, собрать еще кое-кого.

— Нах Берлин!

Он застегнул китель, поддернул беспорядок, которому младший по званию, углядевший его, вовсе не завидовал, но лишь сочувствовал: Лелем капитан уже не был, но дотянуться мог еще не только до жены.

Собрались быстро, но, когда выехали, почему-то уже смеркалось. Поехали в открытых машинах, поставив старые маленькие алые флажки в лунки у лобовых стекол.

— Я ничего не имею против трехцветного. Но в Германии он — власовский флаг и больше ничего, — объяснил интендант, майор Головин, управлявший по инерции магчашью.

Полдороги ехали и смеялись, перекикивались с отставшей машиной. Капитан ехал с полковником и майором, такова была их негласная табель о рангах. Они не по чину почитали его: то ли для капитана он был уже не молод, пересидел пару лет, то ли проклятое уважение к искусству — проклятое для них, конечно, не для него — обязывало их, то ли его джентльменская находчивость аурой витала вокруг его ровненько подстриженной русоволосой головы. И он свой авторитет нес, нес.

Упорно охранял, не боясь комизма, неотделимого от всякой обороны непонятно как завоеванного «значения». Он значительно молчал.

— Запоём, что ли?

Это крикнул, обгоняя их, привставая на заднем сиденье, чтобы одернуть китель, — а может быть, чтобы лучше ощутить скорость, — замполит Кривенко.

Запойный, и долго ждал случая развязаться. Сейчас он парит, не по земле идет. Еще не выпил (а может быть, и выпил), и у него самая начальная часть, первая тема фуги, в разрешении которой — сухой штопор и приезд нарколога. «Сухой штопор» — слова, которые все знают от него. Не летчик, но идею такой фигуры высшего пилотажа, при исполнении которой ас уже днями не ест, а только пьет (пьет, пьет, пьет), он сослуживцам преподавал примером. Больше ему никто не следует. Свой авторитет он не бережет, но почему-то он — глухой, жалобный и «назлостный» — у него есть. Конечно, приятно, когда комиссар — говоря по-старому — не может быть найден пьяным в постели с тлеющей папиросой в руке и словами «А может быть, так лучше?» — в ответ на клич «Сгорись!». Но, в конечном счете, спрос с него очень узкий, и как-то никогда не было в части сомнения, что «если что», «нашего Кривенко» без запоя «на четыре года хватит», а больше мировые войны не длятся.

Как всякий настоящий комиссар, Кривенко бесстыден, лишен всяких комплексов по поводу себя, то есть свободен именно от того, что делает общение с запойными столь затрудненным: истерический надсад «не сорваться», срам воспоминания «предыдущих серий» и ожидание «следующих номеров нашей программы» — ничего этого в нем нет. Светлый, яркий, веселый, вечно готовый к ужасу, — вот и сейчас он, экстатический, наполовину в кошмаре, пронесся мимо них. Машет — дирижирует — намекает: «Споемте, друзья!».

Откуда у некоторых мужиков берется авторитет? Дуло к виску они никому не приставляют. Хотя — полковой живописец устался в вечернюю запыленную кривым проездом даль — он хорошо бы смотрелся в качестве модели. Поднимающий цепь криком и веселым махом пистолета над головой. Надо было написать с него комиссара. Но поздно. Не нужно.

Лейтенант Мамай рядом откашлялся, пару раз помычал «раз...раз», как будто проверяя микрофон, и — запевала есть запевала — дал без подъездов молодым баритоном:

*Взвейтесь, соколы, орлами,
Полно горе горевать.*

Мокрецов довольно в такт качнул головой и махнул рукой впереди идущей машине: сами подтягивайте, орлы.

Театральная вибрирующая жилка дрогнула в капитане. Он ведь поющий. Все знают. В отцовском театре с трех лет выходил. На общественных началах.

На гладкой дороге приятно петь, нетряско, и скорость только добавляет азарта: всегда есть некий новый элемент, при новом повороте можно прикусить язык. Но что-то подсказало ему, что сейчас лучше не жаться, не молчать. Можно вот сейчас отпустить глаза на волю, ни к чему ни приглядываться, а дать лучше людям приглядеться к тебе, если есть охота. И он, не откашливаясь, влился, слушая свой жидковатый, но ровный и уверенный, занозистый тенор:

*То ли дело — под шатрами
В поле лагерь стоять.*

Шофер подал газу, и они нагнали пьяную машину. Теперь они ехали и пели все вместе. Или почти все.

Ехавший на переднем сиденье рыжий подполковник в ритм похлопывал смуглой — что редкость для рыжих — рукой по ребру дверцы, но не пел. По его расслабленной, отдыхающей спине, по летящим назад курчавым волосам было видно, что вечер он начал с пользой для себя, для души и тела. Что все еще полон кем-то или чем-то — или напротив: так опустошен, так буддийски, бурятски пуст... как колокольчик. Аж звенит. И все они звенят рядом с ним.

Когда допели и слушали пыльное эхо, сказал:

— Поедем в кабак, где Есенин Сережка гулял.

Так и сказал: «Сережка».

Приехали на Унтер-ден-Линден. Вышли из машины. Широкая перспектива блестела в сумерках тормозными и габаритными огнями, алыми и пепельными вздохами молодежных сигарет. На секунду задержались у входа, группируясь под взглядом раззолоченного швейцара. Ресторан был на первом этаже гостиницы.

— Позориться не будем, — тихо сказал их вожак, улыбаясь и разом открывая взгляду и фривольные ямочки, и белые зубы. — Вперед!

Зеркальный холл — мрамор, малахит, бронза — встретил их кондиционированным сквозняком и музыкой. Из открытых дверей ресторана доносилось творение лабухов: скрипача, пианиста и еще кого-то трудноопределимого.

Капитан понял, как нелепо они выглядят: семеро мужиков в военной форме. Без единой женщины. Потерянная, смутно опасная толпа.

Всю дорогу, а он прослужил здесь почти десять лет, он слышал вариации этого напряженного призыва: «Позориться не будем».

Европа смотрела на них полвека во все глаза, а они, среди прочего, думали об одном: о деревенском своем желании не уронить честь победителей нелепыми выходками и дурным видом. Страна посылала сюда лучших: почти девять миллионов прошли за последние сорок девять лет мимо монумента в Трептов-парке. Цвет русского и нерусского молодечества: несиделье даже в детской комнате милиции, отучившиеся в школах не на тройки, иногда чрезмерно, не среднестатистически, красивые. Гвардейцы, рослые, как леса. Танкисты, конечно, подкачали, среди них высокие стати редки. Вот и сам он — не танкист, но далек от парящего над толпой тридцатилетнего полковника воздушно-десантных войск.

Только генералы, главнокомандующие их выдвинутого на западный рубеж войска, всегда смотрелись грузно, как разбогатевшие китайцы, родные лежливые Будды. Возраст: времена молодых генералов прошли. И женщины: всегда кормят так, чтобы чужие не загляделись на своего. Поэтому он сам с силой отталкивал еще полную тарелку, широченное фарфоровое поле, от себя. Расценивал заботу как покушение.

Широченные саксонские фарфоровые поля стояли, еще пустые, на столах в полупустом ресторане.

— Вот здесь он и кутил, Сережа. Напропалую. В мае двадцать второго года.

У оркестра была минута отдыха. Флейтист вытряхивал слюну из инструмента: молодой парень, наверняка студент консерватории. Скрипачка прошла мимо них в дамскую комнату. Пианист сел за стол и принялся за холодную, так казалось, котлету.

— Пойдемте, возьмем лучше съют*. Все закажем в номер. Мне что-то здесь не по душе.

Пары и группы за столами делали вид, что не видят их. Но две женщины поверх бокалов смотрели на парней в хаки.

Ехали в лифте. Зашли в огромный двухкомнатный номер, сразу открыли бар, расстегивая кители, через минуту (Мокрецов поговорил по телефону) заехал официант с тележкой еды и питья.

Разбросались — сняв кители — по креслам, диванам, стульям. Последняя светлая полоса горела в панорамном раздернутом окне, над серыми и черными (фильм «Метрополис», режиссер Фриц Ланг, студия «Бабельсберг») крышами Берлина.

Тостов не произносили, но чокались. Это не поминки, да и главное ожидалось впереди.

Обычно главным становятся носительницы ажурных чулок, и верно: спустя час появилась двадцатилетняя монгольская принцесса в алом коротком платье («Трапеция — простая форма»), и лейтенант быстро соединил легко соединимое в мире Баухауса: ее трапецию и свои цилиндры.

«Упражнение с круговыми формами» (Веймар, 1920) шло в соседней спальне и слегка мешало разговору троих, а где были еще трое, спрашивать не стоило, эта атакующая гандбольная тройка — Ленцов, Головин, Падеревский — сначала заплывала в колоссальной ванной, вместе и по очереди, потом ушла, освежившись, вниз: «жарить скрипачку», как один выразился, по сути же, — отдохнуть от заплывающего все дальше Кривенко, от того длинного диалога, что повел польский штабист с раздумывавшимся, как Лель, — он сам это видел в зеркале — живописцем.

Летеха, вышедший из спальни одетым по лучшему уставу, оперся локтем о косяк, бледным лбом — о руку и слушал, пока монголка — как будто надеясь на продолжение, — мостила руки у него на животе.

*Вы помните,
Вы все, конечно, помните,
Как я стоял,
Приблизившись к стене,
Взволнованно ходили вы по комнате
И что-то резкое
В лицо бросали мне.*

Мокрецов стоял посредине съюта на китайском голубом ковре и в новом электрическом свете был бледен, как несломанная крахмальная салфетка на импровизированном (изначально письменном) столе.

Он обращался к стене, но глядел явно сквозь, трезвый, как на параде.

*Вы говорили:
Нам пора расстаться,
Что вас измучила*

(Он произнес «измучила».)

Моя шальная жизнь...

Опустил голову, разглядывая розы на ковре.

* Съют (англ. Suite) — многокомнатный номер в гостинице.

*Что вам пора за дело приниматься,
А мой удел
Катится дальше, вниз.*

Лейтенант освободился от монгольских рук и сел в кресло. Красная трапеция стояла рядом с ним.

*Любимая!
Меня вы не любили.*

Чтец помолчал, потряхивая головой, с улыбкой.

*Не знали вы,
Что в сонмище людском
Я был, как лошадь,*

(Он усмехнулся.)

*Загнанная в мыле,
Пришпоренная смелым ездоком.*

*Не знали вы,
Что я в сплошном дыму,
В развороченном бурей бытие
С того и мучаюсь, что не пойму —
Куда несет нас рок событий.*

Дверь изящно клацнула и ввалились, гомоня, трое нападающих: судя по тому, что Падеревский — ни слуха, ни голоса — орал тему увертюры к «Летучей мыши» (та-ра-ра-ра-ра, та-ра-ра-ра-ра), это скрипачка отжарила их вечной штраусовской темой, а официант принес освежающего сидра. С ними была девка в синем платье — югославка, судя по лицу и формам: нагромождению овалов и углов, изнутри истязующих чувственный люрекск. («Экспрессивный контраст волнообразной и меандровой линий, проведенных непрерывным движением руки», Веймар, 1920.)

Сказав:

*Лицом к лицу
Лица не увидать,*

полкан протянул руку в карман кителя и достал меандровую ленту презервативов.

Большое видится на расстоянии.

Он протянул улов в пространство и, расставшись с ним не глядя, заключил:

*Когда кипит морская гладь,
Корабль в плачевном состоянии.*

Капитан заложил ногу на ногу.
Становилось интересно.

*Земля — корабль!
Но кто-то воруз
За новой жизнью, новой славой
В прямую гуцу бурь и вьюг
Ее направил величаво, —*

скороговоркой, с радостью проговорил интендант.

Потрясая кудрявой головой, не раскрывая глаз, полкан дирижировал, поощряя: дальше, дальше! Но Головин на секунду замолчал.

*Но кто ж из нас на палубе большой
Не падал, не блевал и не ругался?*

От окна — бросил гандбольным мячом — трезвый, деловой комиссар.
И продул папиросу, зная, что поперек ему никто не кинется.

*Их мало, с опытной душой,
Кто крепким в качке оставался.*

Мокрецов сел в кресло и блестящими глазами смотрел на нового чтеца. Тот знал, что говорил — хриплым будничным голосом:

*Тогда и я,
Под дикий шум,
Незрело знающий работу,
Спустился*

(Он обвел все руками, в комнате и за окном.)

*в корабельный трюм,
Чтоб не смотреть людскую рвоту.*

Корабельный трюм Берлина смотрел в окна на бледных потомков своих заводителей. Их рвало стихами — накатило и прокатывало очищение, про которое опытно сказано «очистительная волна».

Смуглая в синем села на диван: царицы и девки везде дома.

*Тот трюм был —
Русским кабаком.
И я склонился над стаканом,
Чтоб, не страдая ни о ком,
Себя сгубить
В угаре пьяном.*

Кривенко исповедовался, глядя в паркетный пол перед собой, как будто на нем выстроились все стаканы, над которыми он склонялся тайно и явно, но всегда убыточно для карьеры. Он поднял голову:

*Любимая!
Я мучил вас.*

Жена Кривенко была дочерью очень старого, но все еще служащего в Союзе генерала, и это помогло прикрывать дефекты здоровья и морали, но спали они, как известно в постоянной Группе советских войск в Германии (ГСВГ), врозь, и это ее чулок лежал в чужом квадрате света сегодня вечером. Видели ли он его?

А живописец внезапно свел рамсы, как говорили на его родине. Свел концы с концами. Его жена дружила с Ольгой Кривенко, самой красивой бабой их гарнизона, бесцельно верной и, по общему мнению, фригидной стервой, настоящей дочерью не полка, а целого Генштаба. Начало их романа развернулось еще в Союзе, озаглавленное поцелуями и драками, достойными фабричных. «Это мой первый орден Красного Знамени» — сказал Кривенко о разводах у него на левой щеке: страстных отпечатках невестинной холодности. Длинные кошачьи царапины скоро зажили, но вот сейчас, когда он читал, эта старая оспа заполыхала изнутри.

*У вас была тоска
В глазах усталых:
Что я пред вами напоказ
Себя растрачивал в скандалах.*

Вот этого не было. Скандалы у них шли за закрытыми дверями, и он всегда брал верх. Даже после того, как за их стычками начали следовать его срывы.

*Но вы не знали,
Что в сплошном дыму,*

(Он разогнал руками дым головинской сигареты и почти завыл.)

*В развороченном бурей быте,
С того и мучаюсь,
Что не пойму,
Куда несет нас рок событий.*

Потом начал читать Падеревский, изумляя — и наслаждаясь изумлением — того, кто затеял все это. И Падеревский отчитал три бравурных катрена, которые он читал три года назад на концерте по поводу несчастной семьдесят седьмой годовщины Великой Октябрьской Социалистической Революции. Так же бравобумажно: «Хвала и слава рулевому!.. Я сообщить вам мчусь».

Любимая!

Он лукаво произнес это и глянул на бабу в синем.

*Сказать приятно мне:
Я избежал паденья с кручи.
Теперь в Советской стороне
Я самый яростный попутчик.*

Теперь Падеревский был самый яростный попутчик в антисоветской стороне, и он, точно, избежал паденья с кручи, поступив в академию имени М. В. Фрунзе.

Но командиру их разгула не понравилось это бодрое выплывание из хаоса. Он не верил ему и взглядом осек молодого капитана, уже готовившегося отрапортовать: «Я стал не тем, кем был тогда. Не мучил бы я вас, как это было раньше». Он сам произнес эти мрачные слова и усмехнулся своему покаянию:

*За знамя вольности
И светлого труда
Готов идти хоть до Ламанша.*

Все рассмеялись. На их контурных картах так и помечалось направление главного удара в случае возможной войны, в полной боевой готовности, в которой они пребывали круглосуточно. Кинжальный танковый проход по ошетилившейся Европе и выход к синему проливу, к Дюнкерку, Кале и Дьеппу.

Читающий лишь улыбнулся.

*Простите мне...
Я знаю: вы не та —
Живете вы*

(Он не мог не посмотреть на Кривенко.)

*С серьезным, умным мужем,
И не нужна вам наша маета,*

(Он вдруг понял, как они все здесь устали, и уронил голову и голос.)

*И сам я вам
Ни капельки не нужен.*

Он провел рукой по лбу, не вытирая испарину, а как будто ища затерявшуюся мысль или снимая мучительную паутину с лица. Перевел дух.

*Живите так,
Как вас ведет звезда,
Под кущей обновленной сени.
С приветствием,
Вас помнящий всегда —*

он помолчал и с недоверием сказал:

*Знакомый ваш
Сергей Есенин.*

Капитан первый нерешительно сложил ладони и захолопал. Следом за ним — синяя югославка и все остальные. Лишь красная монголка не хлопала и не смотрела, вращая ладонями в лейтенанта. Он сам хлопал, держа между пальцами щегольский наборный мундштук. Певец берег голос и хотел, редко курящий, чтобы и этот нормированный никотин оседал подальше от его глотки и легких. Да и женщины ценят большое дыхание.

В гуле аплодисментов тонул весь съют, полковник стоял посередине и улыбался.

Югославка смотрела на него во все глаза и откидывала руку Ленцова, тянущую ее вверх и вбок. Но герой вечера не смотрел в ее сторону, хотя и галантно поднес ей, как и всем, фужер с шампанским.

Он рассказывал им о Дункан, о осенних полутора годах Европы и Америки, о трансконтинентальном путешествии через океан, по следам «Титаника», о двадцати чемоданах балерины с белой русской болонкой мужского пола на руках. С молодым славянским кобелем-поэтом между ног. Он прочел им «Каждый труд благослови, удача» и «Душа грустит о небесах, она нездешних нив жилица». Когда заканчивал тихим пожеланием после паузы:

*О, если б прорасти глазами,
Как эти листья, в глубину, —*

капитан Кондратьев потерял сознание. Пока уплывал, думал одно: вот оно, вот. Он все хотел прорасти руками, но ведь всегда знал, что растут лишь глаза — и всегда... всегда...

Проснулся оттого, что брызгали в лицо сидром, да он и не померк окончательно, лишь предупредил:

— Темно, темно...

В глазах у него наступила темнота, и он с жадностью рос в нее, перетекал, но и противился, а тут подоспели к нему и нависли могучими фигурами, начиная от сапог и до все уменьшающихся стриженных голов, увенчанных югендстильной многорожковой люстрой. А он лежал среди родных китайских роз и бормотал:

— О, если б прорасти...

— Допился, — Кривенко первым выделился из многоголовой гидры над ним.

— Нет, — рыжая волнистая голова, извергшая эти трубные слова о глазастой глубине, колыхалась выше и дальше всех. — Баста!

И он крикнул вошедшему официанту:

— Eine Rechnung, bitte!*

Пока капитан вставал, а мрачная группа неопозорившихся чистила кители и приводила в порядок умы, полковник поцеловал и увел обеих девушек.

Долго отсутствовал, а когда вышел — один, как будто своих жен он, как Синяя Борода, оставил навсегда бездыханными, — то предложил последний и единственный тост. Они смотрели на него, ошеломленные и враждебные, на счастливого и знающего, и все-таки были счастливы пить с ним.

За неувядаемую славу. Он, очевидно, знал, что это такое.

Менять точку возвращения было уже поздно, и капитан поехал домой, на восток. Однажды в потсдамской квартире он долго сидел за пустым и стерильно чистым кухонным столом и играл коробком спичек, ставя его то на торец, но на бок, иногда кладя плашмя на ту и другую сторону; он думал и крутил варианты. Их было не меньше, чем коробочных плоскостей.

Сидеть в Германии до упора, до возможного предела, цепляясь за дойчмарки — что ж, хорошее дело — и даже не надеясь непонятно на что, а лишь оттягивая момент возвращения «в Союз». Так делали многие, но для него в этом

* Eine Rechnung, bitte! — Счет, пожалуйста! (нем.)

продленном *не*-решении судьбы, отказе покориться очевидности было слишком много превратных минусов. Он и так досидел почти до предела, теперь следовало куда-то нырнуть.

Он ведь уже было решил все. Огоревал себе возвращение на родину, почти что комиссовался по болезни, избег переброски в чистое поле, куда-нибудь на Кавказ, где местные били окна и лица приехавших. Ошеломляли их, налетев на палаточные лагеря крестоносцев, рыцарей-монахов в почти полном смысле слова: офицеры приезжали вместе с солдатами, без жен и детей, которым выпала дорога в родительские дома, в хотя бы какие-то дома. Снова холостыми становились под шатрами в чистом поле, как в XIX, может быть, XVIII веке. От этого он, хотя бы в плане, ушел — домой, в военкомат у себя в городе. Уже не служить — дослуживать. Потянула родина.

И вот. Вот. Чтение, вечер. Этот человек. Если бы он знал все это раньше. Если бы! Тогда бы он ударился рыбой оземь, а вспорхнул голубем, но устроился бы в Москве или хотя бы поблизости. Он бы ходил по улицам кабацкой столицы, тем же, судя по координатам, по которым ходил этот праздный, праздничный поэт.

Что же? Не поздно ли было думать об этом? Или стоило тряхнуть жизнью и попробовать обосноваться там, когда на входе в Москву стояла такая офицерская толчея, когда и лучшим, чем он, было трудно надеяться на сочетание погон и столицы.

Но — коробок застыл под его рукой на торце и немецкая надпись взглянула в лицо — как же дом? Как же все нагретое и обустроенное? Как планы купить второй дом и добавить к скудному — на иное не стоит рассчитывать — довольствию еще и постоянно растущую арендную плату, ренту, о которой он мечтал давно?

Продать отцовский, отчий дом, соединить с тем, что он привезет со службы и выкрутить себе — он уже знал перспективу и возможности — некое подобие комода для жилья? Ютиться во всех смыслах — и на работе, и дома? Удастся ли ему примириться с этим?

Даже картины будет негде сложить, он вдруг представил это. Лучшие, чем он, гонят сейчас танки в Союз, как при отступлении, с той только разницей, что на сей раз они отступают морем, по маршруту Мукран — Клайпеда. Что ждет его в Москве?

И он уронил коробок, переложил его на широкую плоскость. Снять погоны. Переехать — не домой, но куда? Где еще этот властно пленивший его человек оставил следы? Ленинград? Нет. Это слишком печально, в данном случае. Там он жил в юности, там ходил, обнимаясь с Клюевым, по салонам эстетическим и не-эстетическим, монархическим и прочим, но след его там летуч и зыбок, как налет весенних растительных духов.

Нет, лишь там, где было проиграно все, но где жизнь развернулась парчовым покрывалом, китайским веером, имело смысл быть. Не искать службы? Освободиться: снять погоны, и пустым — если не считать накоплений двух поколений, — подбитым ветром никем пуститься в мир? В город, где — как ему рассказали вернувшиеся из Союза жены, — стояли вдоль улиц длинные хвосты торгующих, олицетворяя старую, нэповскую свободу торговли и держа свой товар на руках, на ладонях? Нет. Нет. Там не будет возможности сосредоточиться. Там он внезапно и неожиданно может потерять все.

А деньги ему нужны. Купить прижизненные издания, для начала. Прочитать как следует, не в том виде, в котором эти стихи изданы сейчас. Все доступные в Германии новые книги у него были, он купил их быстро. Некоторые стихи записал

от руки, следуя за полковником Мокрецовым, который вовсе не прекратил своих гулянок и предложил и вторую, и третью серию прощания с Берлином. Вот только «Страны негодяев» не было, одни отрывки в чтении полковника.

*Никому ведь не станет в новинки,
Что в кремлевские буфера
Уцепились когтями с Ильинки
Маклера, маклера, маклера...*

Если снять погоны, то впереди — только торговля. Он долго смотрел на лежащую в позе покорности, плашмя и вниз лицом, нечитаемую коробку. Нет. Упрашивать кого-то. Ну его. Надо сохранить авторитет. Пусть самый малый. В той точке, в которой он малый — он же и предельный. А остальные точки не имеют значения, потому что сам он — не в них. Нужно быть в точке, где ты имеешь значение.

И он перевернул коробочку лицом вверх. Открыл и закурил небывало — обычно он прикуривал от зажигалки, а это было для разных случайных нужд. Для шашлыка.

И шашлык у них был недавно. Выезд на природу. И еще один далекий выезд на природу, на другой день. На шашлыке пьяный, уже слегка дымящийся, но еще далекий от «штопора» Кривенко задрал полковника и сам же вызвал его на дуэль, хотя тот, трезво-пьяный и стекляннозорый, был уклончив, миролюбив, если можно было так сказать об этом вечно готовом к войне человеку. Дуэль...

Они стремительно двигались куда-то, но впереди было лишь некое «назад», — точно так же, как их движение, ускоренный и все ускорявшийся марш на родину был лишь возвращением на точку отправки. Даже если реальный маршрут заводил в такую степь, о которой они раньше и не задумывались. Лощеное молодое офицерство, отличники училищ, фавориты, зятья, племянники и просто откровенные серые удачники. Строй удачников. Ну хорошо, разноцветные счастливыцы — у каждого рода войск ведь свой мундир. Гвардейцы... По возвращении многих ждало расформирование, и они об этом знали. Они ехали назад.

Вот ведь и он «поехал», разве не так? С того падения на ковер — так ничем и не объясненного, и не повторявшегося, тьфу-тьфу-тьфу, — он провалился в прошлое и пошел по его лабиринту, как по сказочной земле: 1910-е и почему-то пронзительно ясные 1920-е. Берлинские годы, 1922-й и 1923-й. Есенин два раза проехал через Берлин — из Союза и в Союз, оба раза — с Дункан, первый раз — полный иллюзий о предстоящем ему, во второй раз — видимо, лишенный их. Вот и он сам едет есенинской дорогой: из Союза и в Союз, через Берлин.

В Москву не надо, в Москве он пропадет. А в Петербурге и подавно. Тем более там никого нет. По сравнению с теми, кто был там восемьдесят лет назад. Там... что-то другое, совсем, совсем новое. Но раз уж все начали сравнивать, то сравнивать можно только так: в прошлом было лучше. Если люди задумали куда-то вернуться, а не идти вперед и даже не стоять, раздумывая, на месте, — они обречены на пигмейство. Возвращаться нельзя.

Но иногда приходится. Поэтому он пошлет снаряд уж совсем далеко: он вернется к себе домой. Дистанция значения не имеет. Он все равно проедет через Москву, причем, как и хотел — осенью. Осень — самая кабацкая пора, когда летняя идиллия уже исчерпана, а зимняя трезвость и трудолюбие еще не примирили со всем.

«Твоих волос стеклянный дым и глаз осенняя усталость». Волосы — это ведь и вправду отчасти стекло, только органическое и растущее. Стеклянный дым...

В этом человеке, который казался и кажется таким избитым, как его модные штилеты, жило что-то непостижимое, какая-то большая немота, которая вдруг разражалась открытием других плоскостей реальности. Он снова открыл коробок и заглянул в него: несколько спичек шуршали внутри.

«Пускай ты выпита другим, но мне осталось, мне осталось». Не выдавая движения ничем внешним, он сидел и мерно раскачивался на этих словах. «Мне осталось... И мне в окошко постучал сентябрь багряной веткой ивы».

В лесу под Веймаром, еще ничуть не сквозном и скрывавшим их, они и стрелялись в присутствии секундантов. Он был секундантом Мокрецова; не смог ему отказать. Головин — секундант Кривенко — долго шептался с тем в отдалении, заряжая энергией влажного — от перебитого на лету запоя — Кривенко. Он был весь какой-то бескостный, неприятно гибкий, нечисто выбритый. Врач Модзалевский стоял в отдалении. Это была его идея — тащиться в Веймар. В ночь перед дуэлью он сказал:

— Все придется представить как самоубийство, это ясно. Оба напишите записки, что пожелали покончить с собой в гетевских, вертеровских местах. До Вецлара, где это было, доехать нам не светит, это ФРГ, но все-таки поближе. Пишите, пишите! А компанию объясним тем, что покойный уговорил друзей выехать с ним на пикник.

Кандидаты в покойные выслушали идею хладнокровно, и капитан Кондратьев сразу же подумал, что «его» дуэлянт никаких прощальных писем писать не будет. Разбирайтесь, как хотите! Это будет его ответ.

Впрочем, какая разница? Если только не засыплют, что он был секундантом Мокрецова, и если того убьют, что маловероятно. И, главное, самое главное, он не мог отказать. Все-таки честь.

День был ветреный, листья трепало так, что из-за их шума приходилось кричать, особенно когда стреляющие разошлись на свои пятьдесят метров и стояли, не начиная сходить. А надо было бы уже начинать.

Кривенко выстрелил первым и попал. Подошел и вынул из руки упавшего свой револьвер и вложил в его руку тот, что был у него. Они и оружием поменялись, чтобы довершить иллюзию. Мир и в момент предельной точности заставлял их прятаться и таить мотивировки и действия. К черту! Они все восклицали это «к черту», «к черту», а черт шел тем временем к ним.

Черная фигура в шляпе двигалась по пасмурному рыжеватому лесу. Постояла, повернулась и ушла.

Но, кроме капитана Кондратьева, ее никто не видел, так как все смотрели умирающему в лицо, и даже врач ничего не пытался сделать. Пуля прошла так, что он теперь смотрел на них единственным глазом, в котором посекундно меркла жизнь. На месте другого был коридор в вечность. Никогда уже там не будет стеклянный смеющийся взор с искрами. Разве что в воскресении.

Прежде чем кровь докатилась до груди, лейтенант Мамай — ему вот как раз светило отбытие в Москву — аккуратно достал из нагрудного кармана их общее спасение от разваливающегося, неспособного мелочно карать и теснить, но способного придавить не глядя мирового маховика.

Долго смотрели в ровные буквы, написанные перьевой ручкой, светло-синими стратегическими чернилами.

«Не ухожу, умираю с честью». Это сойдет. Это не подделка. Дата и подпись были в порядке. В сущности, так и есть.

Он так решил. Что суетиться? Он тратил так, как будто точно не планировал возвращения в Союз и предпочел вернуться в какое-то другое место.

Нет, он не собирался жить.

Кривенко надел фуражку и пошел к машине. Там была связь и раритетное — первое берлинское — издание «Москвы кабацкой». Капитан Кондратьев купил его у букиниста, справедливо думая, что в Союзе такое приобретение будет почти невозможно.

Уже давно прошел последний парад, уже все «отпечатали» и «отчеканили», еще в июне, а сейчас прогремел и последний салют, троекратный, как ура.

Нет, он не собирался жить, но почему-то помог другим вернуться. Они засыпали его землей, и ветер закидал, заплывал листьями, хулиган; молодому полковнику понравилось бы так. Заклали, как языческую жертву, и закопали, и знали это. Но виновными себя не чувствовали, не терзал он их виной, а лишь несколько дней — последних — терзал по вечерам нестерпимой нехваткой, когда — вместо того чтобы вместе ехать гудеть, гужевать, — каждый из них оставался с собой и порознь, и не мог быть дома, а шел кто куда. Даже в казармы, строить самых последних, совсем отбившихся, «разложившихся» солдат и старшин, носивших ремни и бляхи на том месте, куда смотрят девушки. Да и юноши иногда, случается. И капитан Кондратьев потратил последние дни на приведение «своих» в порядок — окончательную послабу он своим, в отличие от многих, не давал, слишком мало у него было подчиненных и слишком точно он знал, что потерянная власть не возвращается. Но и он «лояльно» — новое слово, означавшее форменную измену уставу караульной службы — отпустил их слегка, и даже не слегка, дал ослабить ремень. Это был вселенский дембель, и как бы он мог не уважить момент?

У него самого был момент вместо времен, как в пошлом стишке. Зато в этот момент он раскрыл — настежь, как коробок с последними спичками — все доступные ему издания рязанского парешка, петербургского хитреца и московского потеряшки. Ветер гульливый и горький в них гулял, незнакомый ему, чувственно вкрадчивый, безнадежный.

Поэтому он играл и играл спичками, взвешивая жизнь. Москва утопит его, потому что там — главный магнит и место раскрытия этого дара. Он его сожжет, оставит от него ноль. Поэтому надо держаться в отдалении. Жить в другом мире, где нет этого березового эроса голубой Руси, а есть китайский мелкосопочник, горные хребты и — через Великую Китайскую стену — рехиловское Беловодье. Совсем другая история. Иной мир, поверхностно, нежно обрусевший, но оставшийся таким же неуклой, рвано-рубленным — не то раной, не то шрифтом. Он освоит в военкомате шрифты — он же почти художник — и наведет им такую наглядную агитацию... Первую по военному округу. Это для авторитета. А для души у него будет — иллюзия, Рязань, Русь.

Потому что она все равно главней всего. Там — магнит. Как только доберись до дела — будет это. Звать служить по контракту можно и в Туве, и на Амуре, но когда доходит до дела, почему-то всегда оказываются в деле и в авангарде мобилизованные по повестке — и все на Смоленской возвышенности. На подступах к Туле. В сердцевинной земле. Такой похожей, как говорят (надо проверить), на Вестфалию, на маленький уютный европейский мир. Леса лиственные, овраги, пуши, мягкий свет по буеракам, «золотые родники», «малиновые поля», русская Франция, в которой трубит охотничий рог. «Трубит, трубит погибельный рог! Как же быть, как же быть теперь нам на измызганных ляжках дорог?»

Он прочел и послушал себя. Он никогда не будет читать публично. Это к доbru не ведет. Но и скрывать чувств не будет. Это чувство не пятнает мужчину, так повелось. Просто не его это — мелодекламация.

Домой, домой. А в сердцевину земли он будет ездить; ходить, как к любовнице.

И он стал ездить. И бросил писать. Окинул памятью все свои многомудрые холсты, рассеявшиеся было еще на полвека в розовых уголках — территориях по соседству с красными углами военных частей. Холл, рекреация, столовая. Родные просторы: не забудь, солдат, за что ты ринешься в бой, если придется, — ты, сидящий здесь на булавочном острие конфликта двух систем. Да... какая ерунда. Какая ерунда была эта его живопись. Он остановился.

Перевез жену, почему-то — он не помнил, но припоминал свое участие — беременную, и дочь, уже порядочно говорившую на двух языках. У них было две квартиры, но продолжить сдавать вторую не удалось, потому что жена вдруг начала мешать ему. Он и не помышлял о разводе и почти все вечера проводил на ее, женской половине — квартиры были в соседних домах, — но на ночь уходил к себе. Рев сына мешал ему выспаться к службе; он знал, что это гадкое объяснение, но каждый вечер уходил к себе. Жена не роптала. По сравнению с жизнью тех ее подруг, которые, разделившись с мужьями, уехали вперед них в Союз, к родителям, и больше уже не воссоединили семей, ее доля была из лучших. И всю коллекцию фарфора она привезла с собой. И в деньгах ей муж не отказывал даже в самое глухое время. Но, как очень многие военные среднего возраста, ушел на отлет. В космос.

— Воссоединилась Германия, но не наши семьи. Наши семьи разбились, — говорила жене по телефону соседка по военному городку, Оксана Опара. Она жила в Чернигове, у матери, а муж мотался по командировкам, отбитый от дома, как блуждающая почка. Служил он на Урале, ездил в Чечню, — точнее, провел добрую часть Второй кампании там; прибиться к черниговским галушкам незалежной тещи и жены он боялся как будто еще больше пули. К свисту пуль он чуть-чуть привык, а от жены отвыв «капитально», как выражалась Оксана.

— Это у твоего с того падения в гостинице. Это его Мокрецов сглазил, — базарила одна из самых зазывных молодух части, налегая — новая-старая привычка — на родное мягкое «г». Слово «Магдебург» она когда-то выговаривала чисто, как московское радио, но если это радио вызвало и послало их в Чернигов, ломать язык больше было ни к чему. Во втором звуковом слое в трубке гулькал ребенок — уже новый, негарнизонный ребенок местночерниговских начал.

Но жена Кондратьева не совсем соглашалась с подругой, и у нее был аргумент. Отпущенная на волю Опара жила свою вторую жизнь если не очевидно, то слышно и звучно, а она, Валерия Кондратьева, висела между небом и землей, не сводя статусов и путая рамсы дня и ночи. Она перестала быть ночной кукушкой, которая денную всегда перекукует. Куковала в тишине одна. Думала о том, чем и кем занят муж.

Наведалась однажды в его отсутствие — ключ у нее был — и осмотрела оперативный простор в сорок восемь квадратных метров.

Большая комната, стол, стул.

Маленькая комната, узкая кровать, книжная полка.

Паркет, хорошие обои, везде чистота.

Это он. Но — не он.

Все как-то слишком по-немецки, раньше он такую геометрию не любил. Сухо, строго. Раньше он мягче был.

На столе лежали очки, которых он никогда не носил. Она примерила их и подошла к зеркалу в коридоре: светловолосая гигантскоглазая клуша. Пора идти к ребенку.

Но она подошла к книжной полке и осмотрела ее. Какой ужас. Пятнадцать, нет, семнадцать книг одного Есенина и еще книг двадцать — о нем. Вынула старое издание с кляксой чернил на мягкой засаленной обложке, распахнула, где открылось:

*Мы теперь уходим понемногу
В ту страну, где тишь и благодать.
Может быть, и скоро мне в дорогу
Бренные пожитки собирать.*

В двери повернулся ключ и очень скоро, не раздеваясь, вошел Кондратьев с пакетом продуктов в руках. Из носа у него текла едва приметная струйка воды и глаза были больные. Он ушел домой болеть.

Едва взглянув на нее, сел на кухне.

Мотал коробок спичек в руках — никогда у него не было раньше этой привычки.

Она стояла в проеме двери, ожидая даже не слова — звука.

— Что? — она спросила, как сурдопереводчик, почти не дав голоса.

Она боялась, что он скажет ей то единственное, самое непонятное — не глагол, не существительное, даже, кажется, не наречие — и при этом самое понятное слово. Его Кривенко сказал своей Ольге, когда она влетела в их квартиру, полыхая глазами, как барсиха, самка убитого барса. Ее молодой муж звал Барсихой, и прозвище выползло за порог их дома, и годами даже продавщицы «гастетов» звали — за ее спиной — дочь туза Генерального штаба «Барсихой»: за грацию, за злобу, за тяжелый взгляд. И это слово также ушло из четырех стен.

— Вон.

Даже не повторял, ждал, глядя в пол, пока уйдет. И через десять минут она ушла.

А теперь они сидели вместе на очень светлой, совсем белой кухне.

Он как будто заныривал — и выплывал. Заныривал — и выплывал.

— Я поеду в Москву. Командировка через неделю, а я, видишь... разлепился.

Он встал и подошел к окну.

Под дождем по пустой улице без зонта шел человек в черной широкополой шляпе, и, когда он начал поднимать лицо, чтобы взглянуть на окна, Кондратьев отшатнулся. Постоял в середине кухни, переводя дыхание. Ново посмотрел на жену.

— Прочь.

Он ушел и лег.

Он уже не ездил в столицу по делам военкомата — это ему удалось сделать три раза. Теперь, как то и было предсказано отцом, ему предстало другое поле. Но отец, умерший в конце 1980-х, не мог предвидеть, что пятнадцать лет спустя и дальше — по нарастающей — Ванины сапоги вновь пойдут в ход.

Он пустил в ход свои старые картины, старые связи, уходящие, как корни, на два поколения в глубину, и одолел высоту: местный Союз художников, смеясь и улыбаясь за его спиной, признал его своим главой. То, что должность стала церемониальной и к распределению заказов — казалось — уже имела мало отношения, его не смущало: он умел выжать имеющееся в самой скудной ресурсной базе — из

нее, себе и другим в ладонь. Деньги по-прежнему льнули к его рукам, но думать о них приходилось постоянно. Изобразительное искусство как-то трудно поддавалось увязыванию в одну ручную кладь с патриотическим воспитанием — а именно это и был сильный конек наступающих сапог.

Они не разводили антимоний, но при необходимости умели проявить гибкость, и им чаще, чем другим, прощалась эта одиозная «правда в лицо». Ради государственных интересов, конечно.

И он вновь ехал в Москву, волнуясь, как молодой любовник. В Москве все шаги были известны, но суть города заключалась в том, что он особенно сильно менял и наполнял планы. Окидывая умом поездку — уже в самолете — он видел, что не мог бы предвидеть ничего из случившегося.

Москва менялась скачкообразно, но это была самая меньшая из ее докуч. Ее гнутая стать, «вязь» изгибала реальность и изо дня и часа выпирали совсем иные, неожиданные явления на месте известных встреч, дел и занятий.

В первый день, прилетев к ночи, заселившись в гостиницу и выспавшись, он приводил себя в порядок: стригся по-московски, и хотя никогда не был удовлетворен — стричь, как в Берлине, они все же не могли, — это было лучше, чем работа вьетнамки, к которой он ходил дома: трудолюбивое клацание ножниц с вечно предсказуемым результатом.

Покупал новую одежду: китайщину, которой была завалена его родина, он принципиально не носил, и в столице к своим шитым на заказ костюмам прибавлял новые рубашки: для начала посидев где-нибудь в кафе, которому доверял, и посмотрев, что носят. В один из приездов на столицу спустилась какая-то женственно-нечеткая лавандовая гамма, но он как-то не был готов увидеть тон розовых гвоздик у себя на груди. Да она и плохо вязалась с его новым, мафиозно блестящим табачным костюмом. Пришлось ограничиться скучной бежевой гаммой.

Вечером первого дня звонил сослуживцам, осевшим в Москве и все еще живым: полковнику Мамаю, майору Ленцову, еще кое-кому потсдамским.

На второй день шел по художественным делам, обновленный и свежий. Встречался с такими же администраторами искусства — многие с фантомными погонами и плохо стертymi наколками — и, обедая, после визитов в присутственные места, в кафе с плохими интерьерами, но хорошей кухней, пил и щедро материл все министерства, начиная с самого матерного — культуры. И заканчивая самым сирым — регионального развития. «Погоны», как и он, занимались облагораживанием городской среды, развитием ландшафта и стыком, спайкой природы и архитектуры. И иногда, выпив чуть меньше своей и так намеренно невысокой нормы, он оглядывал трудившихся над лангетами и стейками коллег и думал: «Черт бы вас драл!»

Ему очень помог тот курс Баухаусной премудрости, — он, без преувеличений, возвысил его над товарищами по оружию, но слишком этим не бравировал, выкладывая козырь лишь в реально серьезных случаях.

Он забывал немецкий, хотя раньше никогда не боялся этого: просто не мог предположить, что трудно давшийся язык может отпасть от него, как штукатурка от старого дома. Иногда, чтобы возвести плотину на пути мощного, как дальневосточный разлив, потока забвения, он покупал в книжном какой-нибудь немецкий роман; предварительно долго выбирал, оценивая не действие, а главную героиню.

На третий или четвертый день он звонил Ольге. Она больше не носила фамилию Кривенко и вернулась к фамилии недавно умершего отца и деда. Ее дед был одним из тех среднеизвестных генералов Первой мировой, которые весной

1920 года откликнулись на брусилковский призыв — «добровольно идти с полным самоотвержением и охотой в Красную армию и служить там не за страх, а за совесть, дабы своей честной службой, не жаля жизни...») Сидя у Ольги в спальне, майор Кондратьев — в отставку его проводили с повышением звания — читал старую газету с возвращением («Ко всем бывшим офицерам, где бы они ни находились»), написанным, когда поляки нажали на молодую Советскую республику.

Ольга одевалась со своей стороны постели, и в затененной комнате ее высокая, мускулистая фигура могла быть принята за модель молодой баскетболистки Дейнеки. Она была Мокрецову под стать, вряд ли ниже. Но тот, огненной головой мелькнувший и канувший в могилу на военном мемориальном кладбище в Восточной Германии, выветрился, как давно открытое шампанское на столе, за которым майор читал, а Кондратьев обнимал свободной правой рукой подошедшую Ольгу, это стройное, корабельное, мачтовое тело.

Он ходил к ней всегда, всю дорогу, и никто не узнал об этом. Только он опознал тот чулок, но, как волк, уступающий место у добычи медведю, отошел без промедлений. Почти без возражения. Отошел, понимая, что отходит на время, и этот рыжий медведь лишь растреплет, разорит доставшееся, а он, волк, будет есть долго, медленно и аккуратно.

Он и сам не понимал, как подобрался к ней. Ну, жена такого, как Кривенко, — любому смелому добыча, но внучку героя Сарыкамыша и теоретика военного дела достать трудно, как звезду.

Но он как-то принес ей на дом картины — на выбор — и подарил понравившееся ей. Он был меньше ее во всех смыслах: физически, социально, по званию (Кривенко уже был майор, когда Кондратьев — по обыкновению долго — ходил лейтенантом) и по всей стати.

Хрупкий, как мальчик — таким он видел себя с этой барсоподобной во всех движениях, как бы расплавленной женщиной. Большое барское тело плыло по улице, как тал, вырванный из земли потоком. Но он расчувствовал в нем нервное движение, некое — спасибо, Баухаус, *abermals** — поисковое дрожание, не убитое спортом.

Она всегда увлекалась играми: волейбол, баскетбол, ходила болеть за гандболистов, и он приходил посмотреть на нее, когда она, подозрительно простая, в майке с номером, прыгала и падала возле сетки. Особенно он обожал смотреть, как она подавала мяч с угла подругам: ее большая пластичная ладонь выписывала медленную дугу неопределимой, бессмертной красоты и, как бы замедлившись на миг, била по волейбольному мячу, уже подкинутому другой, в данном случае — служебной и рабочей, левой рукой. Сердце у него замирало, и было чувство, что в теле в два раза больше крови, чем нужно.

Он так себя с ней и чувствовал с самого начала, и все остальное было делом не столько стратегии, сколько наития, потому что одной стратегией он у дочери советского Генштаба немного бы приподнял.

Первую встречу он хранил в памяти и думал, что не пустым уйдет — удалится ото всякой красоты — если при нем это есть. Тайное о тайном, воспоминание, к которому, как к реликвии, он прибегал нечасто, но в минуты радости и довольства всем.

Все тонкости того дня, весь тот матч, который судил, он помнил до деталей, вместе с главным ощущением — что он ходил в солнечном лесу, где все эти блестящие, смуглые девки — лишь намеки на одну, стоящую (капитан команды) на углу поля и готовящую свою молниеносную подачу. О, mein Gott!

* *Abermals* — *Еще раз, снова (нем.)*.

Он знал, что Кривенко застрелит его, если узнает. Тот предупредил всех и никого:

— Если кто Ольгу тронет — застрелю.

Слова, сказанные в состоянии «сухого штопора» — обладая хоть каплей влаги, он и намек бы не дал на возможность ее «тронуть», — были восприняты со всей серьезностью и тем облегчили первому рискнувшему его предприятие. Более достойные не рисковали так долго, что у менее достойного появился шанс.

Мокрецов этой фразы не слышал. Чужак. И ему ее никто не передал. Да он бы и не убоился.

Ольга переехала в Союз и открыла своим ключом запылившуюся отцовско-дедовскую квартиру. Протерла пыль — она сама рассказывала ему начало новой жизни — и пошла тренером в фитнес-клуб.

— Мне обрыдла вся эта военщина, я не хотела ничего. Да она и ничего не могла мне дать.

Она рассказывала ему это в их первую встречу в Москве, после того как он, стараясь не производить на бывших сослуживцев впечатления поисков, аккуратными расспросами навел справки и поймал нить. В жаркий летний день 1997 года — доллар стоил пять с половиной тысяч рублей, обменники были на всех углах, а сигаретами торговали в вездесущих ларьках россыпью, как в 1920-х и послевоенных 1940-х, — он пришел к ней. Фитнес-зал сиял зеркалами и натертым паркетом, и снова было много блещущих и смуглых тел вокруг, но игрой не пахло. Пахло почему-то одним ужасом. И еще весельем.

Но он совершал свой старый обряд, как будто не заметив перемены. Выиграв игру, она раньше улыбалась своей редкостной «лучезарной» улыбкой; сейчас ее улыбка приобрела хищные и простые, чуть иронические очертания. Но это была она, и, оставшись наедине, он долго катал и «ломал» это трудное для него тело, которое значило так много, что весь остальной мир блек. Забытая красота затопила его изнутри, как кровь, так что, разгоняемый этой бешено (как в стиральной машине вода) летающей в нем кровью, он снова возмог иначе невозможное. Как же он ее любил!

И вдруг рядом с ними на постель сел — в полной парадной форме, с распушившимися аксельбантами — полковник Мокрецов.

— Что?

Она, все еще лучезарно улыбаясь, — вот же, вот она, эта улыбка! — поднялась и смотрела на него, а он — на другую сторону постели. Там, хлопывая стеклом по сапогу, улыбаясь поощрительно и совсем не завидуя, сидел человек-гигант с отросшими не по уставу волосами. Без фуражки. Она лежала на колене.

— Что?

Она тоже смотрела туда, куда и он, и взгляд ее уходил в незашторенный про свет между болотно-зелеными парчовыми портьерами: московские озаренные крыши бело блистали, как прибрежная галька.

Вся кровь отлила от него, и он ощутил лишь пот, холодный и обильный. Он встал и, ни слова ни говоря — Мокрецова уже не было, ушел в ванную. Сел на край ванной. Комната была выложена мелкой плиткой, голубые средиземноморские фрагменты выступали из белой глины — не делая широких пауз, но и не сливаясь.

Что ж такое? Сначала Кривенко гонял всех — собака на сене — от нее, размахивая виртуальным пистолетом; сейчас тот, кого он убил, еще менее способный

взять свое, гнал — и куда, куда более эффективно — единственного удачника, если говорить о долгих сроках, прочь и вон. Зачем?

Он любил и его, этот призрак, совсем иначе, но любил, и тогда, сидя на ребре ванны, понял, что больше не сможет коснуться того, что ему только что заповедали не трогать. Если жизнь дорога — нет.

Он сидел и думал, стоит ли рискнуть. Загудеть-загужевать, зазвенеть изнутри, как хотелось бы. «Презреть» все это, как он уже однажды презрел мужнины запреты. Но куража за собой не чувствовал.

Она подошла к двери и попробовала ее.

— Эй!

И говорит, как с прислугой. Встала, вынула — и уже этот неистребимый тон.

Кривенко уехал к себе на родину, в Унгены, что ли. Сказал, что «нема дурних» переприсягать — он дослужил свое Союзу Советских Социалистических и дальше будет, как Овидий, бродить в тоге по берегу не Дуная, так Прута. Видимо, там тоже пошел запрос на «сапоги», и он пошел в школу учить детей истории, водить их в скаутские походы в Карпаты и кататься на горных лыжах. Освободился от этой чумы.

Она за дверью постояла и ушла. Ей легче. Она ничего не видит.

Он замотался полотенцем и вышел. Шторы в комнате были раздернуты и постель убрана. Она его верно поняла. А он почему-то вернулся в ванную комнату и умылся, чтобы не плакать. У него в жизни было бесспорное — пусть и рискованное, вечно под Дамокловым мечом — благо, не какое-то там жалкое «счастье», да подавитесь им, а редчайшее, не всем ведомое, откровенное благо, и вот он лишился его. Он тер лицо и думал: ты ведь жил без нее, годы и годы. И отвечал: но я знал, что могу встретить ее. Просто было не время. Просто всех слишком трясло. Просто ей было не до меня, мне — даже мне — не до нее. А сейчас всем было время и дело до всех, им — друг до друга, но другой, неожиданный, но не случайный другой пришел и сел в одежде на ложе. Не забыли?

Где он сделал подлость? Откуда этот стыд? Где ошибка?

Сказать, что в той самой игре, которую он судил в тот незабвенный день, вот именно такой, незабвенный, финал должен был быть другим; что старую заповедь «не пожелай жены ближнего твоего» именно ему решили преподать отдельно и наглядно, парализовав его и отделив от того, что ему было всего нужнее сейчас — это сказать было можно. Что судил его не муж — муж катил по горному склону и о чуме его жизни не думал, — детали. Дело не в этом. Никакой заповеди, да что там — никакой пытке — было не заставить его сказать, что благо есть зло, белое — есть черное.

Если тот потсдамский вечер после игры — зло, то все зло. Тогда в мире нет никакого блага. Он безлюбовен и пуст, и играйтесь им сами.

Одетые любовники сидели за чаем с пирожными, в молчании, а потом начали говорить.

Он сказал ей, что видел Мокрецова — не сейчас, а вообще. Или кого-то похожего на него.

Она встала, вышла из комнаты, подвигала ящиками бюро и принесла записку. Знакомый раскат голубых чернил.

*Рожок протрубил ретираду,
И в утреннем небе висит*

*Хрустальная пыль водопада
И светлый покой Сан-Суси.*

*Четыре прощальные ноты,
И эхо в весенних лесах,
Над Веймаром вечной охоты,
Над рейнской сагой кольца.*

*Как радостно золоту Рейна!
А серебру Одера — дно.
Прощай! Мир — великое бремя,
И был он полвека со мной.*

*Мерцай нам могущества знаком,
Когда мы уйдем навсегда
Кинжальной восточной атакой
К своим, но чужим городам.*

*Какая прохлада и ясность!
Последний победный парад.
Не надо «Прощанья славянки»,
Не плачь, мой рожок ретирад.*

На листе стояли дата — пятнадцатое июня 1994 года — и подпись: Владислав Мокрецов.

— Это он после парада написал. Помнишь, парад был?

Еще бы он не помнил последнего парада. День независимости России, официальный канун вывода войск.

На глаза у нее накалились слезы, но они не пролились.

— Это черновик. Оригинал знаешь где? У военного прокурора, в деле. Видишь, здесь зачеркнуто: «не плачь» вместо «рыдай»? А там все начисто.

— И что? — теперь ему пришлось задать этот вопрос.

— Ты думаешь, это по записке закрыли все это дело? Как бы не так. Им нужно было обосновать, что он идейно застрелился, что он жить после вывода войск не хотел. Они все счета собрали — доказали, что он деньги жег так, как будто уже нажали на кнопку.

«Нажали на кнопку» — так у них некоторые говорили о начале Третьей войны. Неужды. Если бы все было так легко.

— И Веймар им стоился — подкрепить, что он о Веймаре думал, хотел застрелиться именно там.

— Но они ведь все знали. Они знали, как дело было.

— Не преувеличивай. Не все.

Ему вдруг стало страшно.

— И ты хладнокровно снимала нас всех с этого крючка?

— А надо было утопить всех? Я этим ему бы помогла?

— Зачем ты с ним легла? Ты нас всех погубила.

— Я не жалею.

Он сидел и смотрел в стол, борясь с искушением — одним коротким ударом рассечь ее дворянскую бровь и оплавить глаз. Но он уже сам дослужился, причем давно, до дворянских чинов, и дал теперь рукам другое занятие: высекать огонь из зажигалки и гасить его.

— Вы, женщины, никогда ни о чем не жалуете. Эдит Пиаф это верно о вас спела. Вокруг вас мир может развалиться на куски...

— Он помимо меня регулярно разваливается!

— ...а вы все будете тянуть свое «же не регрет рьен», — он, запинаясь, выговорил, а она улыбнулась. Той самой своей, обычно редкой, радостной улыбкой. Без тени насмешки, как над ребенком, учащимся говорить. Неужели она любила и его?

— Как я тебя погубила? Это он, он тебя погубил! Мало того, что...

— ...оттер от тебя, хочешь сказать?

Но она встала и на всякий случай отошла к окну, заняв командную высоту, как и учили предки.

— Да хоть бы и так.

— Я думал тогда о другом. Нам троим вокруг тебя было бы слишком тесно.

А вот она не крепилась, и тем самым легчайшим, пластичным, поставленным на мячах движением руки качнула из стороны в сторону его голову. Он встал и перевернул стол со всем, что на нем было. На щеке под кожей проступил нежный рисунок алым.

Он уже двинулся к порогу и вдруг развернулся и посмотрел ей прямо в лицо. Она уже явно жалела о случившемся с ее правой рукой — она прятала ее за спину как провинившуюся. Их разделял опрокинутый стол.

Если презреть запрет, то сейчас. Кровь от этого удара проснулась, и разогналась, и вновь по широким траекториям носилась в нем, а он, оценивая турбинный гул внутри и все свое будущее, стоял неподвижно. Если уж он сделает это сейчас, — погибнет, как те два, но не посрамится. Он — ее дурная привычка, позорная потребность, от которой она с равным ей человеком отдохнула так, что и сейчас не находила нужным оправдываться, чувствуя свою правоту. Дать им волю друг от друга? Кровь гудела в нем, и краем глаза в зеркале на стене он видел нарастающую точно посекундно красноту у себя на лице: когда-то так непонятно для других алел и Кривенко.

И он швырнул зажигалку, которая все еще была у него в руках, на изнанку перевернутой столешницы. С глупым деревянным стуком она упала.

Он долго искал в коридоре фуражку, и только посмотрев в зеркало, очнулся и увидел, что стоит в штатском и потому может бежать, бежать без промедлений.

Так прошла их первая встреча в Москве, но она оказалась именно первой. На следующий год он пришел к ней, также летом, в зал, но домой она его не повела; они сели в ресторане. С тех пор в каждый приезд они встречались так: разделенные столом, только что неперевернутым. Она рассказывала ему о Москве, о том, как живет, и со всем презрением военной касты — о засилье «сапог» там, где их быть не должно. Он молчал, думая: если бы это было не так, вряд ли бы он ежегодно летал в Москву из своего восточного угла.

Ольга сначала взяла в аренду, потом — купила зал, но работать на паркете не переставала: она увлеклась, наконец-то, деньгами, как он увлекся ими уже совсем давно, и теперь им было о чем поговорить. Связь текла и трансформировалась, брала ту форму, которую они ей давали, самую узкую и уродскую, и в ней внезапно начинала цвести — болезненными бумажными цветами, какими на Первомай когда-то унизывали палки. Но переломить эту палку они не могли.

— Я знаю, кто тебя застрашал. Тебя с того кутежа глючит, все это знают.

Она — неисправимое племя — как будто обвиняла его в том, что он не делает никаких попыток прокрасться ближе.

Они сидели с каждым годом во все более дорогих ресторанах, но по окончании ужина расходились по домам. Они старели, хотя, проверив друг друга взглядом в первые минуты встречи, кивали друг другу: все хорошо.

Он увернулся от нее, как от пучины, и знал, что прав, знал неопровержимо. Большого для погибшего друга, попросившего его об этом, он сделать не мог. Не время разбирать доли вины, расщеплять этот покаянный волос на составные части, но можно ограничиться обетом, ответом на просьбу ясную, бесспорную, высказанную не словами, а нетерпеливым постукиванием стека. Он внял предупреждению. И не из страха: он многожды, в пустые, голые, или полные сухого рыдания ночи смотрел в себя. Нет, не из страха он бросил зажигалку оземь и ушел. А так поступить было *честно*.

Но приходил другой день — почему-то все они случались зимой и не в Москве — и он спрашивал себя: разве ты, твое благо, и если уж на то пошло, ее малопонятный, но доказанный интерес к тебе, твое самое дорогое, твое самоуважение, наконец, не стоят отступления от этого мафиозного, жуткого «уважения» к покойнику, которого убил не ты, перед которым ты не был виновен, который — напротив — перешел, как блистающая шаровая молния — дорогу тебе? Не глуп ли ты, что блюдешь его память, даже не друга, не товарища, а просто — ну, выговори слова — любимого тобой человека, затерянного под немецким невысоким и аккуратным, как ты сам, столбиком?

Он любил, любил его, любил все, что связано с ним и им открыто. И он пошел в эту открытую дверь.

Поэтому пятый, шестой и седьмой день его командировки могли быть заняты чем уж будет нужно, а вечера — его общим с полковником Мокрецовым. «Не плачь, мой рожок ретирад», — говорил он себе и шел по всем памятным адресам.

В Петровский переулок, за старый театр Корша, где «Сережка Есенин» жил пять лет, с 1918-го по 1923-й. Доска врет, конечно: в 1922-м и 1923-м он мотался не в Москве, а на океанских лайнерах.

В дом на Садовом кольце, впечатляюще-громоздкий и витиеватый, как комод, в котором Есенин встретил Дункан, такую же крупную, как его, все равно его, Ольга.

На Большую Никитскую, где в «Лавке поэтов» московские поэты, и самый известный среди них, вели чисто по-московски торговлю: только в этом лабазном, купеческом, старообрядческом, лубочном городе и можно представить без удивления поэта за прилавком.

Солнце садилось, а он гулял по этим и другим загульным тропам. По ним он проходил лишь раз в приезд, а любил по-настоящему лишь место за тремя вокзалами; так, ничего особенного, смычка третьего транспортного кольца с еще одной, не менее округлой дорогой, и старое индустриальное здание кондитерского концерна на горке. Там, в этом заштатном, служебном углу, когда он шел под липучим декабрьским снегом, на него всегда накатывало дежавю.

Из морозного дымного воздуха выступали другие здания, над ним самим нависало другое небо, и все это — лишь потому, что там текло другое время. Там, прорывами, сквозь поры простого дня, втекали 1920-е — страна негодяев в ее простом быте. В достоверности ровного течения явлений. И он, отставной майор Кондратьев, втекал в этот иной мир и под собственную подзвучку не хроникальных, а реальных кадров шел, шел, шел. Он наслаждался по-своему.

*Ах метель такая, просто черт возьми.
Забивает крышу белыми гвоздями.*

*Только мне не страшно, и в моей судьбе
Непутевым сердцем я прибит к тебе.*

У него самого оказалось вполне себе путевое сердце, оно ему повиновалось, но не до конца, и неповиновавшаяся часть хотела быть и числиться среди погибших, непутевых.

*Я помню, любимая, помню
Сиянье твоих волос.
Не радостно и не легко мне
Покинуть тебя привелось.*

Он знал, что лжет себе, лицемерит, возводит в заслугу труды «не радостно и не легко мне», оправдывается, но эта фальшь была обкатана годами и десятилетиями, миллионами и миллиардами прочтений, и она сияла, как волосы, на странице и в памяти.

*Пройдут голубые года,
И ты позабудешь, мой милый,
С другою меня навсегда.*

Но чаще он не думал ничего, а просто шел в иное времени. Однажды он поставил себе вопрос: нормален ли я? Все ли в порядке? И твердо ответил «да». Не потому, что все лучше и лучше, шире и удачнее правил украшаемым им городом и его безалаберными и нелепыми, в массе, художниками, — а потому, что никому, ни одной живой душе он не поведал ни о том, что видел удалившегося, ни о том, как ходил здесь, впитываясь в иное время и ожидая, что вот-вот в засыпанной снегом меховой шапке выйдет соболинобровый Лель. Вот он — Лель. Городской пастух всякой живности. Москва — его город.

Невысказанное слово витало над городом, и ни одна цитата не шла к этому стукту подлинности, жизни миллионов.

Он шел, и шел, и шел, утончая чувства, растягивая душу, как павловский платок: цветисто, аляповато, броско, тонко на просвет. Он чувствовал себя реющим, легким. Безвозрастным: у него не было ни одной морщины на лице, да и норму по седине он не увеличил с сорокалетнего возраста.

Он был как Ольга: они оба, расставшись, если можно так выразиться о людях, не проведших под одним кровом ни одной ночи и встречавшихся всегда в яркое время, «отдававших честь на ходу», как она выражалась, знавшая в общих чертах военные этикетки всех стран... Так вот, расставшись, они замерзли в нестарении. Так же пушились вокруг ее головы гладко зачесанные длинные каштановые волосы, так же безмятежен был ровный лоб, целы мышцы в их скульптурной, но не грубой красоте. Он видел это, приходя, иногда даже без звонка, в зал.

Он сидел и ждал, пока она закончит занятие или переговоры, наблюдая входивших и выходивших в холл. Молодые женщины и парни в темных очках, встречаясь и здороваясь, близко подходили друг к другу и говорили тихо, явно не желая, чтобы он услышал их. Она жила в этом царстве молодой, как правило, красоты, и чем же она жила? Кто-то имел доступ к этому греческому телу, иначе быть не могло. Но он думал об этом элегически, без сожаления и, боже упаси, злобы; он прочил ей в друзья то одного, то другого накачанного хлыща... но здесь он уже не мог справиться с собой. Удаляться в эту мысль не следовало.

Она выходила к нему, размахивая сумкой, надевая такие же черные очки, как у ее подопечных, и бело улыбалась:

— Ну, куда, мой провинциальный Вергилий?

Он не считал ниже своего достоинства провести предварительную разведку мест, куда ее можно повести. Платили они пополам, каждый за себя, но за выбор места, так сложилось, отвечал он. И он всегда хотел чего-то нового, чем-то восхитить ее, хотя бы удивить. Штабисты давали советы ему. Как правило, удачные. Ребята вновь становились все искуснее, и он полагал, что страна его готовится к войне. Без него!

Эти ежегодные обеды изнеможения шли раз за разом, он ждал, когда они надоедят ей, но — то ли он был очень изобретателен в поиске все новых мест, надувавшихся и лопавшихся в столице, то ли у нее был свой план событий. Она всегда откликнулась на его предложение, и первой ее реакцией на его появление была чуть виноватая улыбка, которую она сразу убирала под очки, чтобы больше ни разу не достать.

Приехать в год двадцатилетия ухода Западной группы войск он не смог; точнее, собрался только зимой, когда все встречи однополчан прошли. Иначе фишка не ложилась. Впервые — чего он никогда не делал — позвонил Ольге из дома: он не хотел приехать, когда она не в городе, а она именно зимой любила уезжать к теплу. «Мне трудно сплошь пережить зиму в Москве», — говорила она, не уточняя, что это еще одно — из сотен бесчисленных — памятных наследий Германии. А он мужественно высиживал прибайкальскую зиму и редко ездил даже в Китай. На Восток его не тянуло, хотя он и жил, формально не уходя от жены, с одной буряткой, самой красивой бабой местной налоговой инспекции. Местный глянцевого журнала даже снял ее в роли звезды «глэм-рока»: он не вник, что это такое, но грим (Хэллоуин в райцентре) нашел пакостным и деревенским.

Ольга, по счастью, была и обещала быть в Москве. Голос у нее был хрипловатый, но в нем и всегда была какая-то глухая, волновавшая его нота.

— Ты простужена?

— А... Да нет. Так.

Они условились о дне встречи и — он изменил себе — даже о месте. Почему-то он так спешил увидеть ее в этот раз, что решил не тратить время и не подыскивать новое место. Условиться сразу. Она легко согласилась и на это, и вдруг подумалось, что она всех этих маневров «развлечения» и не видит; не придает им особого значения. Где он в ее «ментальной карте»? Есть ли он там? Что он такое?

Он вдруг задал себе эти вопросы, сидя с неположенной трубкой в руке, но перед отъездом предаваться раздумьям не следовало. Все уже было расчерчено, она дала отмашку, и надо было срочно брать электронный билет.

Я знаю —

Время даже камень крошит...

И ты, старик, когда-нибудь поймешь,

Что, даже лучшую впрягая в сани лошадь,

В далекий край

Лишь кости привезешь.

Он усмехнулся своему настрою.

В стране, объятая вьюгой

И пожаром,

Он должен нарушить свой зарок в этот приезд. И он сможет, он понял по ее голосу.

Он начал собранно, четко, на глазах недружелюбно глядевшей налоговой бурятки сцеплять свой багаж: вещь к вещи. По-военному.

В Москве он решил сопротивляться. Нужно было все переиграть. Лишь первый день — стрижка, обновление гардероба и общая огранка — он провел в старой гостинице. Утром следующего — по снегу, катя громахующий багаж в метро — он поехал в номера совсем другого класса. Четырехзвездочный восточный, не сетевой, а семейный, отель: мягкие ковры, бесшумный лифт, вид на косой липучий континентальный снег, белые стены, черные авто. Он стоял у окна, затянутого повторной, кроме снега, кисеей, и ждал, пока в черном космосе телефонии прорежется ее хрипловатый ленивый голос.

— Алло!

Он сглотнул слюну.

— Я приехал. Приходи, — он назвал ресторан и адрес. Ему было нужно только спуститься и по галерее пройти из гостиницы в кабак, не одеваясь.

— Меняем план?

— Да.

— Хорошо.

Они договорились о времени, лапидарные, как связные. Что-то нарастало между ними, вылось в этом проводе, личное — в анонимном и всеобщем. Горячее пятно жизни.

До встречи оставалось три часа, и он вышел на улицу. В этот раз он все изменил. Решил увидаться с ней и лишь потом заняться делами. Если все случится, он хотел, чтобы у них было больше времени. Дела сделают себя сами, но эта связь вечно требовала отдельной работы. Предельной точности.

Он вспомнил, как они — главным образом он — скрывались от чуткого, но глухого ко всему, что не его жажда, Кривенко. Какая это была филигранная страстная жизнь.

Под снегом он вышел на мост и смотрел, вертя головой, то на юг, то на север, в колоссальную, разомкнутую московскую перспективу, заштрихованную снегом до домашнего лубка. Нет, этот город не по стране. Слабоват.

Петербург пал, не сумев, не вынеся, — угас, как ветер над Россией, отошел в себя. Да вот только помнится — живет сделанное им. Империя до Забайкалья дотянула дороги, и даже войну им выиграл построенный царем Транссиб.

Он думал «им» — отстраненно, о ком-то невидимом, но абсолютно чужом. Вот им. Он смотрел на поток машин, на жирное и бессмысленное варево города, который был обречен проиграть — уже проиграл, но все пыжился, все пытался отменить день.

Он повернулся было, но решил дойти параболу нисхождения до конца и лишь потом вернуться.

Он никогда не видел Москву такой. Она ему предстала обреченной, хотя была та же — шелковистая, обволакивающая... если ограничиться лишь воздухом, светом, игрой снежных рефлексов. Всё, что было материей осязаемой, — люди,

камни, железо, было черно, жестко, сурово, отточено, как карандаши в кабинете военного прокурора. Металл, каркасы, гранит. Волос к волосу, туго повязанные шарфы, металл в глазах.

Энергия, но не страстная, развязная и почкующая, а жесткая, остервенелая и обреченная, пыхала на него, как из адской печи, из каждой машины, из каждой выхлопной трубы. Крематорий. Он был в крематории. Здесь сжигали. Жгли бензин и газ, энергию Востока, но за Урал бросали лишь кривой, битый грош, а думать о нем и вовсе не могли. Не имели времени. Смерть наступала на них, и они не могли думать о своем могильщике. Вот так.

Он бросил сигарету за перила, посмотрел на подплывающую баржу.

Нужно зайти в номер, почистить зубы. Последний час перед встречей с Ольгой он никогда не курил.

Запад бросили. О Востоке не думали. Все, что происходило, происходило здесь и сейчас, и именно здесь и сейчас они должны были сгореть — все эти безликие, внезапно нечеловеческие люди в машинах и без.

Аминь.

В номере он ополоснулся еще раз, надел свежую рубашку, проверил гладкость подбородка, смахнул обнаруженную поросль, посмотрел на свое тревожное лицо. Пытливо: да или нет?

Вопрос был перед ним, несмотря на то что все свои решения он сделал. В этом аду все равно все гибнут, и если он здесь, он должен играть по правилам. Часы перед последним днем Помпеи должны быть уважены, и пепел вулкана должен завалить их сплетенные фигуры, из которых лишь одна годится для барельефа.

Раз он здесь, судьба этого города — его, стиль — его, даже если он здесь чуть более суток, а о плазме, окружающей его, думает: «они». Сам он — плазма, горящая так же истово, и это можно видеть: он порезался при бритье и после капель крови выступила розовато-желтая жидкость. Он состоит из нее. Он скоро испарится. Картины его — брошены в реку, о нем не вспомнит никто, кроме жены и, может быть, наложницы. А с Ольгой им — одна дорожка. В ад. И это правильно. Это по-божьи.

Наконец-то все прояснилось.

Он снял галстук, надел пиджак, расстегнул верхнюю пуговицу рубашки.

Свобода. Свобода заливала его, и он упивался чувством проклятости, ненужности и обреченности. Зато он поступит так, как считает нужным. Все.

Официант провел его к столику, в зале было нелюдно: те, кто обедал, ушли, ужинающие еще не появились. Музыка не было. В углу тихо смеялись несколько грузин: разговор явно шел о чем-то семейно-неприличном. Они были в черном и казались сбежавшими с неблизких похорон. Слегка прибитыми опытом, но готовыми медленно распрямиться.

Он углубился в меню. Было уже ровно четыре, время их встречи.

Голоса и тень, упавшая на стол, заставили его поднять голову. Рядом с официантом стоял высокий парень в кожаной куртке и смахивал со лба волосы жестом необыкновенно белой и пластичной руки. У парня были карие глаза и

большой смеющийся рот вишневого цвета. Он бросил сумку на стул рядом и снял куртку. Сел.

— Привет!

Грузины из угла на минуту смолкли, глядя на них, но потом снова зажурчали свои кладбищенски-нотариальные новости на родном языке: они передавали из рук в руки какую-то бумагу.

У парня были накаченные полукружья груди: они угадывались под темной фактурной футболкой. Вернее, под тонким свитером с открытым горлом.

Он снова, как перед началом телефонного разговора, проглотил слюну.

— Прости, раньше не мог. В зале установили новое оборудование: тренажеры, то да се, надо было сделать полную проверку. Старое уже разбили. Всем нужна хорошая фигура, ты знаешь.

Грузины рядом снова примолкли, слушая его. Глядя на его исполинскую фигуру в обтягивающих, травленных, неравномерно-синих джинсах.

— Бери меню, — майор Кондратьев кивнул глазами на кожаную книгу. — Наверное, есть хочешь.

За соседним столом прыснул самый молодой, желтолицый, синеволосый парень в траурном наряде мафиози: белая рубашка, черная двойка.

— Быка съем.

Он листнул меню капризным жестом, побежал глазами, ни к чему не приглядываясь, — так, ухватывая общую мысль.

— Хотелось бы объяснения.

Но пришедший углубился в потертый кондуит восточных деликатесов.

— Место ты выбрал, я скажу, не слишком удачно.

Его вьющийся, как будто слегка надтреснутый контртенор вился и несся по сумеречному залу — далеко и бронбойно.

— Не все возможно предугадать.

Кондратьев подозвал глазами официанта. Спросил:

— Решил?

— Да.

И он начал перечислять пункты своего заказа, время от времени смахивая волосы со лба — он носил каре — рукой с браслетом-цепочкой.

— Все.

— И я, — Кондратьев назвал и свой заказ.

Дождлся, пока официант удалится под виноградные своды соседнего зала.

Спросить: «Ольга, что с тобой?» было невозможно: желтолицый нотариус смотрел на него черными икорными глазами, как будто что-то решая.

Все и так было ясно: грудь ушла, лишь пупырышки сосков оттопыривали тонкую ткань спортивной тряпки. Плечи еще немного развернулись. Волосы ушли, но это было наживное, отрастающее. Все остальное было непоправимое.

Трансгендер.

Он потянулся за звонящим айфоном, достал его из сумки.

— Алло!

Звонок уже ушел. Тогда он сам набрал номер.

— Сережа, это...

Кондратьев встал и подошел к официанту, что-то перебивавшему в ящике высокого дореволюционного буфета с филенчатыми створками, с трезвым зеленоватым стеклом.

— Подайте, пожалуйста, наш заказ в номер.

Тот подумал.

— Хорошо.

Он вернулся и встал над столом, думая сквозь неожиданный внутренний смех: он собирался гореть в аду, но этого комикса — этой манги — он не ждал. Ну что ж. Война план покажет. Пока он хочет поесть без свидетелей и узнать имя этого человека. Имя!

Явно уже не Ольга. Но ему нужно было знать имя. Эта старая суть, которую он любил, нашла новую — вот эту — форму, и, чтобы понять, что делать с этой формой, нужно было узнать «как тебя зовут».

— Идем. Поедим в номере. Здесь сквозит, боюсь, как бы тебя в этом свитерке не продуло. Ты ведь с тренировки, поди?

— Да я уж остыл, — он сказал это, вставая, берясь за ручки мягкой спортивной сумки.

В лифте они ехали молча, не глядя друг на друга. Кондратьев видел в туманном, не лстящем лифтовом зеркале, в чересчур белом «дневном» свете свои остановившиеся зрачки. Сказать «Ольга» он не мог. Другой обнял его одной рукой за плечи, летуче, и запах волос — еще как будто потных, влажных после игры — напомнил ему корт, сумерки, июнь и стуки мяча о ровный потсдамский асфальт. Но лифт уже зазвенел, прибывая, и он не успел ответить на это тихое объятие, на знак узнавания в темноте.

— Подожди.

Двери открылись, и люди посторонились, пропуская их.

Они вошли в номер, и он думал, включая свет — уже начало сине смеркаться, — что пообещал что-то, но еще не знал, не понял, что. Кому, почему.

Гость пошел в душ, сразу начался плеск воды, а вместо звука откинутаго пластикового сиденья — он почему-то боялся его — раздался корректный стук в дверь. Привезли тележку с едой и начали выгружать тарелки, приборы, салфетки на обеденный стол.

Официант улыбнулся и ушел.

Кондратьев скинул ботинки и лег на постель. Он ждал своего соперника, ждал явления распушенных аксельбантов с чувством не страха, а глубокой, глубочайшей иронии. Он смотрел на голубой, в розах, китайский ковер и ждал, пока его тщательно расчесанную гладь возмутят следы призрака.

Она тоже пожелала уйти из-под заклития. Сильно. Сильно, что тут сказать. Он ощутил желание закурить и подумал, что сейчас, наверное, можно, не дама ведь, но рука не протянулась к пачке. Он терпел и думал.

Но это была тайная и для него самого мысль, а на поверхности сознания была блаженная гладь. Даже уколы воды, бившейся по фаянсу ванной, не касались его остро, а ласкали и скользили. Он не хотел спешить.

Еда медленно остывала, но он, выученный жить, не начинал без дамы. Он встал, надел ботинки, сел за стол, положил локти на стол, подбородок — в чашу ладоней и ждал.

Даже не доставал салфетку из кольца. Поесть, однако, следовало, иначе могло не хватить сил. Напои, накорми, потом расспрашивай. А то еще и спать уложить придется. А имя — оно откроется потом. Но без него ничего не будет.

В Потсдаме она носила свой пропуск в кармашке волейбольной сумки. Он потянулся к zipperу, но в этот момент дверь запотевшей ванной распахнулась —

жар дошел до него — и вышел, в белом махровом халате, стянутом на тонкой талии, растирая волосы полотенцем, Мокрецов.

Он откинулся на спинку кресла и ждал, пока иллюзия пройдет. Нет, это было не видение — лишь момент истинного сходства. Рост, стать и нервное потряхивание волосами: лицо было скрыто белым махровым полотенцем. И каштановые волосы казались лишь распрямленной и потемневшей от прошедших лет мокрецовской медью.

— Слава, садись!

Он без раздумий назвал имя.

Тот хмыкнул из-под полотенца, встряхивая все еще мокрым глянцем.

— Да ладно. Зови по старинке. Ольгой, если тебе так удобнее. Но вообще-то я Владик. Осталось только документы поменять.

Из имени Владислав она взяла первую часть. Еще бы. Когда она брала что-то второе, следующее? Он — ее единственный скромный выбор. Теперь вот — его выбор. Или нет?

Он смотрел на колонноподобные и все-таки женственные ноги в просвете между разошедшимися, небрежно сведенными полами.

— Закусывай. Будь как дома.

Он сел и начал есть. И ничего не оставалось, как тоже медленно ворошить вилкой в блюде, постепенно вникая в еду.

— Ну расскажи, как ты там.

Снова зазвонил его телефон, но он даже не дернулся.

— Да я таких трансформаций не предпринимал, — он фыркнул. — О чем мне рассказывать по сравнению с тобой?

— А тебя, чувствуется, томит любопытство. Ты ведь любопытный, жутко.

Интонация была так знакома, что он бросил вилку, подошел и положил руки на плечи сидящему человеку, положил щеку ему на темя, пахнувшее шампунем.

— Да и у меня все то же. Ну, груди нет, ты видишь. Это был не мой выбор.

— Онкология?

Он снял щеку с темени. Увидел в зеркале свое сочувственно поморщившееся лицо.

— Ну, не совсем. Долго объяснять. Я бы от этого не умерла. Но оставлять было не совсем, по их меркам, безопасно. И знаешь, — она скрестила вилку и нож на тарелке, отпила воды. — Когда я это сделала, я поняла, что это начало чего-то другого, это намек, и останавливаться нельзя.

— Что еще отрезано-прибавлено?

— Больше ничего.

Этот мужик по-прежнему был дырявым войском, и надо было только выбрать момент. То, что он сам был Мокрецовым, было лишь проблемой его, Кондратьева, сознания, но самого полковника здесь не было, и явиться он ниоткуда не мог. Он, майор чувствовал это, преисполнился брезгливости и недоумения. Развел руки, сочувственно и скорбно. Правильно, так и оставайся. Ад отменяется. Общий ад — конечно же — состоится, и он, скорее всего, захватит и личный, но здесь его не будет.

Здесь будет что-то другое. Как ему не быть, когда смерклось, тележка с пустыми тарелками вытолкнута за дверь, о забытом вине решили не вспоминать, закрыли дверь на ключ, задернули шторы и наконец-то подошли друг ко другу, чтобы вспомнить не облики, а сущность, поискать путей в страну единства, в благо явное и бесспорное. Удалиться от мира хотя бы еще раз — в покой меж грубых простыней, во тьму, в которой они, так получилось, раньше никогда не были, салютуя на ходу, отдавая честь без остановки движения.

Пусть будет большая остановка. Странная боль о человеке пусть совете себе в них новое гнездо, и выведутся новые птенцы: какие-нибудь хрупкие, свежие виды страдания. Они так устали от старых, так устали. Пусть будет новой хотя бы боль. Непроницаемость, зеркальность, воспоминание, обретение лиц.

— Человек и сам не знает, насколько ему странно в предписанном ему теле. С этим ему предлагают смириться как с данностью. Да много с чем. С национальностью, с богатством или бедностью семьи. Но это все можно скинуть, это к коже не прилипает.

А тело — не только кожа, а сам его состав — говорит лишь об одном, прежде всего: о поле. Вот никуда ты из этого не выпрыгнешь, и это нормального, свободного человека бесит. Да, я знаю, заведут-потянут эту гармонь о «смирении», о том, что тело надо «принимать таким, какое есть».

Не слишком ли многое мы в себе начали принимать таким, какое оно есть? Каким оно нас ест, пожирает. Если бы люди все лишь принимали — ничего бы не было. Спорта бы не было — какой хрен бы прыгнул на высоту шести метров с лишним — какая Исинбаева? Что у нас было бы, если бы мы лишь принимали свои тела? Нет.

Даже балета бы не было, ради которого они, как гейши, смолоду свои ступни кромсают, строят все свое тело к одной задаче. Было бы только варварство, драная эта естественность. Я тебе это говорю как человек, отдавший гимнастическому залу всю жизнь, за исключением первых семи лет. Всю! Это надо любить, знать, это священное спортивное насилие. Но все — в меру. Профаны приходят, и они готовы в зале изнурить, убить себя, остаться безо всего ради какого-то образа, который им встрял в глаза и мешает увидеть свои границы. Границы есть. Есть. Натура все-таки кладет предел, но гораздо дальше, чем думает большинство, и гораздо ближе, чем думают неофиты спорта.

Да, рывок — это большая ценность. Если у человека есть рывок, у него есть все. Эта, знаешь, способность на дистанции — ты никогда не бегал триста-четыре-реста метров, да бегал, скажи? — вдруг, ниоткуда прибавить ходу так, что твои соперницы увядают и где-то там за спиной телепаются. А они, крепкие сильные девицы, мощнее тебя по многим статьям. Но нет рывка, нет этой ярости — я не знаю, где — в жилах, в дыхании, и вот уже ничего нет.

Спортсмены любят говорить о классе... Да, класс, проверенность чемпионства, достижения многое решают. Но из чего они берутся? Никак не из ровного бега, не из этой тягомотины. Решает рывок.

И русские люди верят в рывок, знают его. Бурлацкий, артельный «ух!». А нам все советуют сейчас — «тяни, тяни ляжку». Да идите. Тело, суть человека — самую его глубину поглубже «пола» — не отменить. Состав и привычки его жил.

Видел Плисецкую? — вот ей скажи это. То есть получается, что национальность глубже пола. Я вот все еще русский человек, а женщиной быть свободно перестала. Но сейчас что-то брезжит, да. Что смеешься? Просто, знаешь, когда грудь отпала как вариант, стало как-то неудобно, и приснился мне сон. Ни к чему тебе, что там было, но знаешь, я вдруг все вспомнила. Всю свою богатую мужскую жизнь, которая шла всегда как бы в тени, на шаг глубже обычной жизни. Как бы под водой. И это не то, что ты — голубой, розовый.

А ты просто другой. Ты — другой, чем большинство тех, кто выглядит, как ты. У тебя иная душа, иная твоя и жизнь. Есть, знаешь, такое понятие, гендерный

нонконформизм. Есть религиозный, есть политический, а есть гендерный. То есть ты играешь в игрушки своего пола лишь от случая к случаю, и я, блин, помню, у меня все игрушки были военные. Солдатики красные пластмассовые и серые, серебрянкой крашенные, кукла большая — «Василий Теркин», и одна еще кукла — «Роза Люксембург», мне ее дядя из Потсдама привез. Военное дитя, да... И знаешь, я лет до шести не мыслила, что я кем-то буду, не солдатом, не генералом.

Это как? У нас все в роду по мужской линии — а фамилия идет от отца к сыну сколько уже поколений непрерывно — военные, а тут я: хэллоу!.. Ты говоришь, что это и есть как раз насилие надо мной, что я изначально попала в эту ситуацию, которая — такая же неподвижная, как тело, только тело — физическая реальность, а семья — социальная. Но я тебе скажу: не все так просто. Ты вечно разыгрываешь короля, принца, потом — принцессу, ты не растешь бутчем, бой-девкой, ты вполне девчочковая девочка.

А потом тебя приводят в парикмахерскую и — бац! — стригут под мальчика, потому что ты была в шортах, а больше парикмахеру ничто не намекнуло, кто ты. Крупный, рослый, красивый мальчик. И он заводит тебе ножницы за ухо: «Ничего, отрастет!» Ты живешь всю жизнь, не зная, кто ты и что ты. Ты всегда — как подпольщик в глубочайшей маскировке.

Тебя будут пытаться, начиная с двадцати трех лет, где твои дети, но ты никогда им не сможешь ответить, что для тебя слетать на Марс было бы естественней, легче, чем этих детей иметь. Ты ведь не знаешь, что с тобой, ты — не крашенный во всех водах транссексуал, ты просто недоумеваешь. Ты стоишь на границе миров. Ты понимаешь всех, но не хочешь принадлежать ни к одному войску.

Ты — наверное, агендер. Человек без пола. Вот как я сейчас. Внешность не соответствует внутренности. Снаружи — видишь кто, а внутри — чувствуешь? — совсем другое. Хаос. Просто теперь этот хаос снаружи, он нагляден. А внутри он был всегда. Только он был скрыт: ходила ты в спортивной майке с номером «24», ненавидели тебя все бабы в военном городке, за исключением некоторых подруг по волейбольной команде. И всегда ты был загадкой, как бы сновидением для других. Но достоверно никто ничего не знал, и при этом все всегда чувствовали. Люди чувствуют это, самые тупые, самые неграмотные.

Слава потому надо мной такую власть имел, что мне с ним было комфортно: вся путаница как бы отпадала, я вся такая была как бы целая женщина-женщина. Но, видишь, натура все равно свое возьмет, не может тебя ничто подавить надолго. Человек как протуберанец: он все равно вырвется и «себя окажет».

Что ты молчишь? Ну да. Я думаю, что, если бы я очень, очень хотела скрыть, Кривенко никогда бы не узнал о нем. О нас. Но я его засыпала. Так получилось. Ненавижу я эту фразу «так получилось», презираю, но — но!.. Она-то и идет в ход, когда надо чем-то назвать ситуацию, а если бы называть ее как следует, то надо было бы говорить, что человек себя выказал и высказал. А потом начинается этот бубнеж: «так получилось».

Невиноватая я! А просто протуберанец вырвался. И баста. Да, конечно, он не хотел уезжать. Да, конечно, он считал себе это личным оскорблением. Вот его одного — на всю известную нам ЗГВ — разорвало нежелание тихо-смирно отойти без горя. Он хотел, чтоб с горем. И не отойти, а остаться. Твердый, ох, твердый был... Марс, таких больше нет. Но, знаешь, тело было все текучее, все такое расслабленное, он весь как бы струился. Как живопись майя, весь текучий.

Вот я это ненавижу в себе: засыпать тогда и оплакивать сейчас. Но ведь нигде на небе не было написано, что это обязательно Крив его убьет. Мог и он его. По его понятиям — конечно — нельзя было убить оскорбленного и так уже мужа. Но мало ли каковы понятия. Когда дуло смотрит в глаза, это меняет понятия. И

кто мог думать, что... Да ладно. Я знала, что Олег его решит. И все для чего? Чтобы снова вести свое трансграничное существование, чтобы он уж нигде мне не отсвечивал, не влек меня никуда, хотя я это и любила. Любила, — но не могла на этом остановиться. Дальше должно было быть что-то еще.

Дальше... дальше. Мы ведь все, сам знаешь, помешаны были — ну, я имею в виду людей, кто долго в Германии жил, — на Гете, на всем этом. Дальше, дальше... Никогда не останавливать мгновение. Ну, Фауст погубил Гретхен, которую любил. А я — Славу. Но жизнь не остановилась от этого. Все равно все дальше идет и длится, и все эти, знаешь, угрызения совести. Они тяжелы, но есть что-то больше них.

Люди, которые считают, что, убив или предав, ты мгновенно сгораешь в плотных слоях преисподней, неглубоки. Неопытны. Важно понять, почему ты это сделал. На каком пути оказалась эта развилка. Предать... Вы все — и все вокруг нас — предали все и вся. Кто из твоих знакомых офицеров, кто из моих выдержал присягу, которую давал Союзу Советских Социалистических? Где эти целовальщики красного знамени? Где это их «торжественно клянусь»? Мы лучше других знаем, что нигде. Все продали всё и вся и при этом продолжают жить, воспитывать кого-то, клеить обои на старые стены. И найдут тысячи объяснений. А если сердце спросит? И тогда найдут. Потому что — «дальше, дальше».

Потому что природа не терпит остановок, высокодуховных пауз, в ней все длится этот вселенский свиарник деления, почкования, размножения и разложения. Круговорот вещей в природе ради непонятной им самим цели. «Только все прояснится, и снова все запутывается». Кто? Гете... кто же еще.

А вот ты любишь меня, ты меня не предаешь. Поосторожничал один раз, но ненадолго, не навсегда. Ты хитрый, но ты преданный. Я люблю это. Я тебя не люблю, но что-то, какой-то поворот верности — мне близок. То есть мне как раз-то неблизок, но раз я всю жизнь тащу эту свою раздвоенность и ни разу не попыталась ее честно отринуть — значит, и во мне есть верность. Просто не людям, не людям, и не себе, а чему-то высшему. Но я чувствую, что это, а назвать не могу. Не природа, нет, а что-то такое, о чем порядочные люди не говорят в постели.

Из глубокой темноты тек ее голос, а на фоне раздернутого уже в ночь окна, на фоне окон напротив рисовался ее четкий профиль с ровным лбом, большим носом с травматической, спортивной горбинкой и подвижные твердые губы. Нет, он никогда, никогда не предаст ее.

В аэропорту было пасмурно, тревожно и спешно, как обычно. Он зарегистрировал билет и сдал багаж, и они пошли в одно из кафе: там громко орала музыка, но призывно пахло кофе, а от гула и жужжания кофемашины по нервам проходила отъездная, прощальная дрожь. Он пытался унять ее и не мог.

Они сели, долго ждали, пока им принесли по штруделю с мороженым и кофе латте в высоких стеклянных стаканах неправильной, на его взгляд, формы. Она ела, а он читал книгу, иногда что-то подбирая с тарелки. Очередные воспоминания: Москва, 1920-е, последние глотки воли. Замыкание, прощание.

Он снял очки: если она доверила ему свою подлинную суть, глупо было прятать от нее такие мелочи, как собственная удивленная большезлазость.

— Тебе никогда не хочется уехать назад, в Германию? Неужели никто не помог бы обосноваться?

Она мотнула головой.

— Зачем? Мне и здесь хорошо. Весело.

— А я бы уехал. Я бы — уехал. Мне все снится. «Снова вернулся я в край родимый. Кто меня помнит? Кто позабыл? Грустно стою я, как странник гонимый, — старый хозяин своей избы. Молча я комкаю новую шапку, не по душе мне соболий мех, — он помолчал. — Все успокоились, все там будем, как в этой жизни радей не радей, — вот почему так тянусь я к людям, вот почему так люблю людей».

Она фыркнула. Для других это был «он», а для него — только она, искомая сущность. И найденная.

— Давай вместе уедем, — его язык куда-то повело. — Давай. В Германию.

Хотя бы на каникулы, для начала.

— У меня самый сезон в зале сейчас. Самый сезон, — она сосредоточенно ела мороженое.

В кафе зашел седобородый высокий человек в черном плаще и черной шляпе, надвинутой на глаза. На шее мотался грубый вязаный шарф. Бегло взглянул на них и сел спиной к ним в свой угол.

— «Черный человек, черный человек, черный человек», — он засмеялся и не мог остановиться.

Класс в немецкой художественной школе, солнечный форкурс Баухауса, поворотный круг в отцовском театре и куколки его кукловодов, солнечное утро парада в Потсдаме, Мокрецов с гитарой и назастигнутыми хаки в вечерних лучах, крыши Берлина, его собственная кухня и мелкой нарезкой — блики на теле человека рядом, все двадцать пять кадров близости — понесли в стесненном сердце и начали рикошетить ото всех предметов, подпрыгивая и увеличиваясь. «Накрыло», — сказал он себе и прикрыл глаза руками, потер лоб. Почему-то захотелось заплакать.

— Ну что, пора?

Неутомимый женский голос над ними объявлял прибытия, отлеты на русском, английском, и надо было идти.

Он махнул рукой официанту, но тот обслуживал черного человека. Вот он, черный человек. Вот.

Когда высокий парень в фартуке пришел, он со скандалом вручил ему деньги, потребовав молниеносную сдачу. Он получил ее, сложил в карман. Но это уже не имело смысла. Время текло с такой цельностью и искренностью, с такой пластичной непрерывностью, что все то единственное, что можно было сделать, каким-то образом постоянно оказывалось уже сделанным. Оказалось, что он — уже — взял сумку и пошел вперед.

Вокруг катили кейсы и чемоданы на колесиках, спешили, чистые плитки отбрасывали белый свет, и они потянулись со всеми, не разговаривая, не думая.

— А ты не был на могиле Есенина? Был?

Нет, он не был.

— Обычно прихожу.

Он повернулся к ней лицом, приподнял голову, по обыкновению. Никогда он с ней не целовался на улице, а сейчас и тем более ни к чему.

Спортивный парень с доработанным и омоложенным лицом смотрел на него влажными глазами.

Сотрудник аэропорта смотрел на них ленивым взглядом.

Там, за чертой, был его мир: леса, за кромку которых уходит солнце, чтобы там же и встать для всего мира, широкие полосы девственного бора, ночь, тьма. Туда предстояло, по-хорошему, уйти.

А здесь была Москва-река, трамвай, звон, а еще дальше на запад — река, бои, кровь на траве. Война ведь идет, а он — где? Он вдруг задумался над этим вопросом и начал поворачиваться. В кармане пиджака зазвонил телефон. Жена. Он нажал на кнопку принятия звонка, но сказать ничего не смог.

Колоссальная, поднимающая от пола сила бросила его на сверкающий, бликующий, скользкий пол, и он покатился по нему, догоняемый скачущим телефоном, и так хотел докатиться до красной черты, за которой был дом, черная гряда леса и тихое, отшельническое сияние зари. Это было теперь самое главное — перекатиться за черту.

Но он — не мог. Движение все замедлялось, остывало, и вдруг какая-то большая рука подняла его и втянула на московский прогулочный кораблик, укрепила его, захлебывающегося и задыхающегося, в обреченном месте и повезла через черную ночь по реке, вдаль от зари, к берегу, где в крови скользили люди в русской военной форме, но какие старые! Он никогда бы таких не призвал. Он сам должен был стать одним из них, вот в чем дело. Это призвали его. Но еще не бросили в дело, он еще лишь подплывал к зеленому вечернему берегу битвы, видя издали раненых, изнывающих без помощи под открытым небом, и белые десантные аксельбанты.

Когда через несколько минут пришла транспортная полиция, возле странно быстро потемневшего человека сидел белолицый парень с документами на имя Ветровой Ольги Сергеевны. За окнами аэропорта начался дождь, и видимый мир принял очертание корабля, плывущего сквозь бурную ночь.

Вахтенные начали оформлять документы об убывшем пассажире, парень продолжал сидеть на корточках, показывая редкую тренированность мышц, и все вокруг текло, струилось, как тело огромного, расслабленно-величественного человека, напоминающее, в свою очередь, торжественное дефиле форм: трапеции, цилиндры, круги и их взаимное перетекание в вечном, так никем и не отраженном как следует, празднике.

